

Невозможным и странным.
Ревность к добру иль клубок преступлений,
Что там мятётся средь этих строений?
Или над крышами чёрных кварталов
Это встают на последней мете
Башни пилонов, колонны порталов,
Жизнь уводящих к безмерной мечте?

И дальше – проекция ближайшего будущего:

Надежда безумная во всех сердцах
Сквозь эшафоты, казни и пожары
И головы в руках у палачей...

(«Душа города»)

23 декабря, выступая в «Киммерике», Волошин с присущей ему парадоксальностью обрисовывает, как получить желаемый эффект от лекций: зрители не должны потреблять информацию с дежурной благодарностью; лектор должен взрывать их спокойствие новыми, неожиданными фактами: «тот, кто со всем соглашается, ничего не воспринимает»; между тем каждая новая для слушателя мысль «рождает в нём спазму, которая выражается обычно страстным протестом». Поэт призывает аудиторию «свистеть, делать скандал» – только так можно дать понять лектору, что кое-что из его идей слушатели усвоили, над чем-то задумаются. Однако волошинская лекция «Театр как сновидение» не вызвала на этот раз «страстного протеста»; напротив, он был награждён бурными аплодисментами. Да, аудитория в Феодосии никуда не годится – пора ехать «возмущать» Москву.

А в Москве тем временем выходит из печати каталог выставки «Мир искусства». В нём – 14 пейзажей Волошина, каждый из которых озаглавлен строкою из сонета «Акрополи в лучах вечерней славы...». В газете «Московские новости» (1916, № 300) появляется заметка «По выставкам» с нападками на модернистов «Мира искусства». Подписавший её, «один из публики», недоумевает, зачем нужно было показывать «какие-то рыжие пейзажики» какого-то Волошина – ведь они, прямо скажем, «безграмотны и нескладны». Интересно, понравилась ли Максиму такая «спазматическая» реакция, хотя и не на лекцию?..

Заканчивается 1916 год. Мать и сын Волошины собираются в Москву. Макс намеревается выступить с лекциями о Сурикове, Верхарне и о жестокости в жизни и искусстве. Уже в Москве, под Новый год, он, как обычно, гадает по Библии. Остаётся запись: «...и все обитатели земли, имена которых не были записаны с сотворения мира в книге закланного Агнца, поклонились ему...» (Откр. XIII. 8). Приближалось время заклания...

РАЗГУЛЯЛИСЬ БЕСЫ...

...А я стою один меж них
В ревушем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Гражданская война

...И снова Москва, город по-своему родной Волошину, город, в котором у него давние друзья – Ф. Арнольд, А. Белый, Бальмонты, Эфроны, Я. Глотов, Вяземские, К. Кандауров, Ю. Оболенская, А. Толстой, Кедровы, М. Кювилье, которая стала женой юного князя С. А. Кудашева, отмеченного печатью скорой смерти... Город, в котором он не может

остаться наедине с самим собой, город, который раскручивает и заверчивает, как гигантская центрифуга, раздирает «на мелкие кусочки».

Макс занимается своими издательскими делами, где всё складывается для него благополучно: «Со всех сторон идут ко мне предложения, просьбы и заказы на разные издания», – сообщает он М. С. Цетлиной. Поэт выступает со своими стихами в Литературно-художественном кружке, выставляет серию пейзажей «Города в пустыне» в «Мире искусства» на Арбате, причём некоторые его работы покупаются. С особым чувством Волошин читает совсем ещё «свежую» лекцию о Верхарне. Начинающий поэт Константин Паустовский, побывав на вечере в Драматическом театре, делится своими впечатлениями: «Собралось человек сто. Зал был почти пустой... я влез в один из первых рядов и сидел между мамашей Волошина... и дочерью Бальмонта, девицей с белыми ресницами, пухлой и застывшей. Много длинноволосых поэтов. Волошин – маленький, толстенький, с рыжей шевелюрой, в пенсне и глухом шёлковом жилете. В фойе он суетливый, на сцене неподвижный, с глухим голосом и скупыми жестами. Читал он хорошо». С этой лекцией Макс выступает часто: в Большой аудитории Политехнического музея (в пользу пострадавших от войны детей), в аудитории Земского и Городского союзов в Петровско-Разумовском...

Кажется, будто поэт в предчувствии грядущих событий старается жить взахлёб, ему хочется побольше успеть – увидеть, сказать, написать... Волошин не пропускает ни одного заслуживающего внимания спектакля, он посещает Антропософское и Религиозно-философское общества, он постоянно «день и ночь на людях». В сущности, Макс не меняется. «Он так же торжественно, как три года, как пять лет тому назад, читает свои и чужие стихи, – вспоминает Р. Гольдовская, – всё так же умно (и в то же время глупо) рассуждает о жизни, искусстве, войне, танцах, политике, театрах, знакомых, новых книгах, страсти, ненависти, грядущих судьбах человечества, отцах церкви, буддизме, антропософии...» Он безостановочно носится по городу, он бывает всюду. Но город, на этот раз Москва, уже дрожит «далёким отголоском / Во чреве времени шумящих голосов»...

А начиналось всё в Петрограде. И развивалось вроде бы по знакомому с 1905 года сценарию. Но всё свершилось как-то быстро и сразу. 23 февраля 1917 года происходит стихийный революционный взрыв, переросший в массовые выступления против правительства и династии. Солдаты переходят на сторону рабочих. Из «Петербургских дневников» Зинаиды Гиппиус: «25 февраля. Суббота ...Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади был митинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Ал. III). У здания Гор. Думы была первая стрельба – стреляли драгуны...

Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается – не понять... Премьер (я даже не сразу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на квартире... Кто-то, где-то, что-то будто приказывает...

Дума – „заняла революционную позицию...“ как вагон трамвая её занимает, когда поставлен поперёк рельс. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением... Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь всё для войны! Пораженцы!

Никто их не слышит...»

«26 февраля. Воскресенье ...Часа в 3 была на Невском серьёзная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приёмный покой под каланчу... Настроение войск неопределённое. Есть, очевидно, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, т. е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский полк. Сегодня, к вечеру... не отказался, а возмутился – Павловский. Казармы оцеплены и всё Марсово Поле кругом. Говорят, убили командира и нескольких офицеров...

До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое „долой самодержавие“ (это годится). Было, кажется, и „долой войну“, но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе, неорганизованная стихия ширится, и о войне, о том, что ведь ВОЙНА, – и здесь, и страшная, – забыли...

Бедная Россия. Незачем скрывать – есть в ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на „Маскараде“ в Имп. театре, пришли ведь отовсюду пешком (иных сообщений нет), любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда – один просцениум стоил 18 тысяч. А вдоль Невского стрекочут пулемёты. В это же самое время (знаю от очевидца) шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина!

Все школы, гимназии, курсы – закрыты. Сияют одни театры и... костры расположившихся на улицах бивуаком войск...»

«27 февраля. Понедельник ... Мимо окон идёт страшная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с пашками, подростки и даже дети от 7–8 лет, со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семёновцев. Но вся улица, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут „за народ“...

Известия: раскрыты тюрьмы, заключённые освобождены. Кем?..

Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали её своей базой...

... Стрельба продолжается, но вместе с тем о прав, войсках ничего не слышно... В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят Временное правительство с популярным генералом „для избежания анархии“, левые хотят Временного правительства из видных думцев и общественных деятелей...

На улицах пулемёты и даже пушки – все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правит, войсках не слышно, а полиция скрылась».

Волна революции докатывается до Москвы. Восставшие (борцы за справедливость, бунтовщики, уголовные элементы – как угодно) занимают Кремль, вокзалы, телеграф, полицейские участки. Император Николай II отрекается от престола.

Всё происходящее отчётливо запечатлелось в памяти поэта: «Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с ещё большим увлечением и с большим правом торжествовали „бескровную революцию“, как было принято выражаться в те дни. Первого марта¹⁰ Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова. И выставка открылась». Волошин вспоминает, что на вернисаже было много народу. В зале царило возбуждение. Люди пришли сюда, «скорее чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. И едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка – последний смотр уходящим помещичьим идиллиям русской жизни» (лекция «Россия распятая», 1920). Тут же, на выставке, составлялось воззвание (кому?) относительно памятников искусства, отдающихся под защиту народа. Какова будет эта «защита» – мы сегодня хорошо знаем.

А эйфория между тем продолжалась. Радостные и возбуждённые, пишет Е. А. Бальмонт, ходили мы «с толпой по улицам, вечера проводили на собраниях у знакомых». Её дочь, та самая Ниника, перестала ходить в школу, и Макс, что характерно, её в этом поддержал: «...она бегала с ним по Москве, забиралась на грузовики, ездила в тюрьмы освобождать заключённых и с восторгом говорила, что Макс один понимает по-настоящему, что такое свобода». Но чувствовал ли он, что это такое – в последствиях?.. Понимал ли, что стоит за звучным иностранным словом «революция»? Много позже, 14 июня 1922 года, Волошин озаглавит этим словом стихотворение, в котором довольно иронически выразит своё юношеское отношение к массовому «пароксизму чувства справедливости», даст книжно-поэтическую, романтическую трактовку этого «французского» явления:

¹⁰ М. А. Волошин ошибся – Николай II подписал акт отречения от престола 2 марта, передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который не принял корону. – Ред.

Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметённых толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом под воющий набат,
Зовущей к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблён в стеклянный ответ глаз,
Вперённых в зарево кровавых окоёмов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов,
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины,
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе, –

здесь поэт имеет в виду Вандомскую колонну в Париже, установленную в честь побед Наполеона и увенчанную его статуей, которая была несоразмерно мала по отношению к колонне.

Но «порох», «железо» и «зареве кровавых окоёмов» ещё впереди, а тогда, в марте 1917 года, всё было интересно, всё казалось экзотичным и совсем нестрашным. «На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества Революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлёвскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова „Без аннексий и контрибуций“.

Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые расположились по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее – человеке Божьем.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзлось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлёвские стены, чёрная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещей камней Красной площади, обагрённых кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчётливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Ясской земли, нового Смутного времени» («Россия распятая»),

В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжкой поступи
Кремлёвская стена.

На рву у места Лобного
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.

Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят.
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.

По грязи ноги хлюпают,
Молчат... проходят... ждут...
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд.

(«Москва», март 1917 г.)

Это было озарение, растворение капли дня сегодняшнего в океане времени. «Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода была найдена: этой точкой зрения была старая Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько вразрез с общим настроением тех дней, что их немислимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших мне друзьях они возбуждали глубочайшее негодование». Ещё бы – ведь даже К. Бальмонт повторял за всеми: «Россия показала миру пример бескровной революции!» (Макс-то знал, что революции, «начинающиеся бескровно, обыкновенно оказываются самыми кровавыми».)

А. Толстой по поводу «торжества революции» на Красной площади провозглашал, что вышедший из подвалов народ вынес оттуда «не ненависть, не месть, а жадное своё, умное сердце», горящее небывалой любовью.

Любопытно в этой связи сопоставить отношения к происходящим событиям двух «крымчан» (правда, один – с 1918-го, другой – с 1893 года) и почти что ровесников (разница в четыре года) – И. С. Шмелёва и М. А. Волошина.

Как известно, Иван Сергеевич Шмелёв радостно приветствовал февральские перемены. Поначалу он вообще ждал от революции чуда. Отправляясь «в Сибирь за освобождёнными», он пишет очень бодрые очерки. Его вдохновляют красные флаги и звучные лозунги: «Смотришь, и поднимаются в душе светлые порывы, и перед этими радостными кусками красного атласа меркнет и выносится из души последнее притаившееся сомнение... В новое надо идти с детскими глазами». – Как это не похоже на умонастроения Волошина, воспринявшего Февральскую революцию как «солдатский бунт», как предвестие последующих трагических событий. «Куски красного атласа», которые поначалу так заморозили Шмелёва, контрастируют с «красным платом» Волошина из вышеприведённого стихотворения. В статье «Революция, проверенная поэзией» (1919) он напишет: «Москва переживала революционную идиллию. Принято было говорить о „бескровной революции“... Но в памяти „оставались только красные лоскуты знамён и кокард, точно пятна крови“...» Шмелёв же, присутствовавший на митингах, отмечает единство народа, солдат и офицеров, совместно «кующих свободу». Однако довольно скоро происходит переоценка. Автор «Суровых дней» подмечает разгул уголовщины, всеобщее падение нравов, озлобленность и задаётся вопросом: а готова ли Россия принять свободу? Да и какая она, свобода... какая сегодня Русь? «Обносились, оголилась она, богатая. Спрятаны в просторах под горами, на тысячи вёрст, сокровища. Ходит-бродит по ним нищая Русь... а ширь светлая, простор Божьего мира, в котором всем место». Это только преамбула исторической судьбы России, горечь которой выразил Волошин в стихотворении «Святая Русь» (19 ноября 1917): «Разорила древнее жилище / И пошла поруганной и нищей...»

Мотив разочарования в происходящих событиях усиливается в очерках Шмелёва, которые составят цикл «Пятна». Он убеждён, что русскому народу чужды новые революционные идеи, которые противоречат его исконно религиозному сознанию. Писатель верит в «скрытый лик» России, в то, о чём говорит Волошин в поэме «Китеж»: «Святая Русь покрыта Русью грешной». Вернувшись в Москву из Крыма, Шмелёв пишет сыну 9 августа 1917 года: «Я стараюсь уйти в работу, утонуть в ней... Убью себя на работе, т. е. время... Уведу свою душу. Мне тяжело». А вот о чём думает летом 1917 года Волошин. Наблюдая «сказочность неожиданных превращений: человеческих взлётов и падений», он всё же утверждает в письме к Б. Савинкову, что вся остальная «обыденность революций, ил и муть растревоженных душ и вожделиний, – только естественный физиологический процесс, простой, как разложение трупа». Как видим, настроения обоих писателей незадолго до

«Великого Октября», мягко говоря, невесёлые. Один, правда, больше погружён в себя, другой, как обычно, склонен к историко-философским обобщениям.

События неизменно вызывают у Макса аналогии с историей Франции. В декабре 1917 года он заканчивает два стихотворения «Взятие Бастилии» и «Взятие Тюильри», объединённые общим названием «Две ступени» и посвящённые М. И. Цветаевой, незадолго до этого посетившей Коктебель. В судьбе самой Марины Ивановны, в её поэтическом творчестве называют существенные перемены. Ей также открывается ужас того, что происходит в России, ужас вырисовывающейся перспективы:

Свершается страшная спевка, –
Обедня ещё впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди! –

вырвалось у неё в мае 1917-го. Свобода... Кто знал ей истинную цену? Невольно вспоминаются строки В. Хлебникова, написанные за месяц до этого:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на «ты»...

Да, небо пока что ещё не заволокли тучи. В марте-апреле по инерции продолжалась общественно-культурная жизнь. Макс бывал на собраниях Общества свободной эстетики, заседаниях Литературно-художественного кружка, на посиделках недавно возникшего Московского клуба писателей. Он по-прежнему выступает с лекциями и со стихами (в Доме печати – вместе с М. Цветаевой), намеревается отправиться в Питер, куда переехала выставка «Мира искусства»... Однако все эстетические впечатления заслоняют мысли о судьбе державы. «Начиналось общее разложение России, которое должно было привести её к окончательному распаду... Но всё это началось с падения династии и императорского строя».

Поэт вспоминает, что в первых числах марта среди русских писателей распространялась анкета, в которой был поставлен глобальный, волновавший всех вопрос: республика или монархия? У Волошина не было однозначного ответа, его мнение сводилось к следующему: «Каждое государство вырабатывает себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат с чужого плеча, никогда не придётся нам по фигуре. Для того, чтобы совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный исторический опыт, которого у неё нет совершенно, благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдёт через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически, и исторически желательно для неё. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернётся на свои старые исторические пути, то есть к монархии: видоизменённой, но едва ли в сторону парламентаризма»

Волошин замечает, что эти мысли пришли ему в голову до возвращения Ленина в Россию, когда угроза большевизма ещё не нависла над страной. Сменивший долгую эпоху империи период Временного правительства виделся поэту тяжёлым временем Смуты. Государство быстро разрушалось, а между тем «обречённая на гибель русская интеллигенция торжествовала революцию, как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение

республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени – были нестерпимой ложью. Правда – страшная, но зато подлинная, обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, тайно назревавший с первого дня её, но для всех неожиданный» («Россия распятая»):

Во имя грозного закона
Братоубийственной войны
И воспалённые, и красны
Пылают гневные знамёна.

(«Русская революция», 1919)

Желая уйти от зловещих предчувствий, особенно острых в столице, Волошин, как и в прежние времена, уезжает в апреле на «родину духа». Здесь можно побыть наедине с собой, осмыслить случившееся, сосредоточиться на творчестве. И вот он уже в Коктебеле. Ночь. Берег моря. Над головой всё то же звёздное небо, неизменное в дни мира и войны. Всё так же

Жёлтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.

Взгляд Волошина охватывает всю доступную ему картину мироздания... «Мы видим вокруг себя вселенную, проникнутую глубокой мудростью: всё вокруг глубоко связано и обусловлено законами причинности. А наше дело создать вселенную, проникнутую любовью... Ведь в этой мудрости нет любви. А нужно, чтобы во всякой частице мира была разлита любовь, и стала его логикой, его причинностью. Мы творим эту вселенную»...

Искры света в диске наклонённом –
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зелёном
Пламена созвездий берегут.

«Мы живём в эпоху, когда всё сдвинуто в мире, нет устоев, нет чувства тяжести, мы не знаем, где верх, где низ. Европа сорвана войной, Россия сорвана революцией. Наступило время, когда надо с закрытыми глазами, как слепому, внутри себя нащупать те тяготения, те точки опоры, которые ускользнули в мире внешнем. Две силы есть у творческой воли человека: познание и любовь. Познание – сила негативная... это творчество, развёрнутое в обратном порядке. Понимание – негативный отпечаток творения. Все положительные творческие силы человека – в любви. Любовь он вносит в мир новое, ею сочувствует в работе Иерархий в качестве одной из них».

И вблизи струя звенит о камень,
А внизу полёт звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В вышине пылающих лампад...

«Социализм является явлением отрицательным, потому что для направления настоящего он недостаточно практичен, а для выявления будущего его идеал слишком мелок. В настоящем он ограничивает свою роль справедливым распределением плодов производства, не заботясь ни о практическом, ни о моральном упорядочении его. В будущем он ставит неприглядный и легко достижимый идеал сытого и комфортабельно обставленного

человека. Это делает социалистов избранными носителями того рабьего духа, который распространяют в мире демоны машин, которые, подобно всякой силе, данной в руки человеку, стремятся не работать на него, а стать его господами...

Счастье вовсе не должно являться высшей целью человека на земле. Утверждение Крпоткина о том, что высшим законом является развитие человечества от менее счастливого существования к более счастливому – неверно. Несчастье является основным побудителем к каждому поступательному движению. Счастье, благосостояние, удовлетворённость приостанавливают всякое развитие, в физическом мире и в духовном – это смерть, начало распада... Я бы заменил понятие счастья духовным равновесием, покрывающим собою все противоречия и ущербы мира материального. Социальный рай на земле находится в полном противоречии с „царством Божьим внутри нас“. Господи, хорошо-то как здесь, в этой тройной короне – моря, звёздного неба и гор. Так бывает, когда время останавливается...

Кто сказал: «Змеёю препояшу
И пошлю»? Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу,
Переполненную светами, – себя.

(«Ветер с неба клочья облак вытер...», 1917)

Мысли, неотступные... Одно наслаивается на другое; потребуется время, чтобы эти размышления обрели определенную форму. Пока же Волошин просто фиксирует их, озаглавив: «Заметки 1917 года». Кто знает – войдут ли они в статью или отдельную книгу; возможно, будут использованы как материал для лекции...

Накопился конечно же и материал поэтический... За последние годы сложился солидный стихотворный массив, и Волошин подумывает о новом сборнике. Ведь со времени выхода книги «Стихотворения. 1900–1910» он выпустил лишь стихи, посвящённые мировой войне. Назрела необходимость издать произведения лирико-философского плана. Тем более что поэтический сборник 1910–1914 годов «Selva Oscura» («Тёмный лес» или – ближе к смыслу – «Дантов лес»), на который был подписан договор с Сабашниковым, так и не увидел света. В сущности, к сорока годам уже можно подводить какие-то предварительные итоги, и Волошин, окидывая взглядом пройденный путь, расставляет определённые вехи, характеризует основные этапы творчества как единой Книги: «СТРАННИК этой книги отдаётся вначале внешним проявлениям мира („СТРАНСТВИЯ“, „ПАРИЖ“), переходя потом к более глубокому и горькому чувству своей сыновности – чувству Матери-Земли („КИММЕРИЯ“); затем он проходит сквозь испытания чувственной стихией воды („ЛЮБОВЬ“, „ОБЛИКИ“); познаёт Огонь внутреннего мира („БЛУЖДЕНИЯ“) и пожар мира внешнего („АРМАГЕДДОН“); путь его познания завершается пока висящим в междузвёздном Эфире „ДВОЙНЫМ ВЕНКОМ“ („CORONA ASTRALIS“, „LUNARIA“)... Таков психологический чертёж этого пути, проходящего сквозь испытания стихиями: землёй, водой, огнём и воздухом». Новая книга стихов будет называться «Иверни», то есть «черепки, осколки», иначе говоря – избранные произведения, элементы пока ещё не законченной мозаики, своего рода «драгоценные камни» поэзии. Именно так ещё в июле 1915 года поэтесса М. Моравская охарактеризовала стихи Волошина: они «прекрасны, как драгоценные камни». Складывая поэтический сборник, Макс параллельно работает и над книгой о Верхарне...

Ну а в Коктебель, несмотря на смутное время, съезжаются дачники и гости Волошина. Воистину, человек неизменен в своих привычках; его трудно выбить из проторённой колеи жизни. Появляются Манасеины, Поликсена Соловьёва, Анастасия Цветаева с сыном, Валентина Ходасевич, Владислав Ходасевич с женой, поэт Георгий Шенгели, Юлия Львова с дочерью... Преобладают почему-то «балетные», отмечает Макс, полагая, что на этот раз, пожалуй, не будет привычного «обормотства». Коктебель располагает к занятию живописью,

и Волошин увлечённо пишет акварели. А времена – тяжёлые. Приходится постоянно думать и о пропитании, а стало быть, – о продаже картин. Окантовав несколько пейзажей, он выставляет их на обозрение в столовой Е. П. Паскиной (дочери П. П. Теша), месте весьма популярном среди коктебельцев, и назначает цену: 10–15 рублей за картину. Его акварели пользуются спросом – они покупаются в Москве, покупаются и здесь, в Коктебеле. Художнику удалось заработать более двухсот рублей. Пора художественно «покорять» Петроград – в этом начинании берётся помочь Ю. Львова, обещавшая захватить туда несколько десятков работ.

Повсеместно популяризируя свои картины, Волошин вместе с тем убеждён: принцип «искусство для всех» глубоко порочен. «В нём выявляется ложная демократизация. „Искусство для всех“ вовсе не подразумевает необходимой ясности и простоты... в нём есть гибельное требование об урезке роста мастера в уровень с современными ему невежеством и дурным вкусом, требование „общедоступности“, азбучности и полезности. Искусство никогда не обращается к толпе, к массе, оно говорит отдельному человеку, в глубоких и скрытых тайниках его души.

Искусство должно быть „для каждого“, но отнюдь не для всех. Только тогда оно сохранит отношение индивидуальности к индивидуальности», которое и составляет его смысл, в отличие от просто ремёсел, «обслуживающих вкусы и потребности множеств». Но Макса волнуют и практические вопросы, связанные с продажей картин. Ещё в Москве он написал статью «Гильдия святого Луки», в которой говорил об унижительном положении художников, фактически обкрадываемых перекупщиками. Поэт видит выход в создании Союза художников (Гильдии), который мог бы провести в жизнь и контролировать закон о процентном отчислении автору с каждой перепродажи его картины. Отчисления же, идущие на счёт Гильдии, можно было бы употребить на поддержку бедствующих художников, а также всего нового, пока ещё не признанного. Ориентируясь на пример средневековых гильдий, Волошин предлагает ввести своеобразную иерархию: ученики, подмастерья, мастера, что закрепит в искусстве определённую систему ценностей. Во главе же союза должен стоять Совет мастеров-распорядителей, включающих в себя, помимо художников, талантливых критиков, музейных работников, коллекционеров и ценителей живописи. Именно на него должна быть возложена функция грамотного, мудрого регулирования художественной деятельности. Как видим, несмотря на средневековую ориентацию, мыслит Волошин вполне современно и даже прагматично. Увы, всё новое, даже трижды разумное, до поры вязнет в тине человеческой инертности.

Естественно, рождаются новые стихи. Среди них программный характер приобретает стихотворение «Подмастерье» (посвящённое Ю. Львовай), поэтический «символ веры», свод законов творчества, манифест волошинской поэзии, который начинается с осознания своего призвания, высшего предназначения:

Мне было сказано:
Не светлым лириком, что нижет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, –
Ты будешь подмастерьем
Словесного, святого ремесла.
Ты будешь кузнецом
Упорных слов.
Вкус, запах, цвет и меру выплавляя
Их скрытой сущности...

Славянская «безмерность духа» требует сдерживающей формы, поэтому для творческого «блуждания» духа необходим закон самоограничения, наличие некоей сдерживающей силы:

Для ремесла и духа – единый путь:
Ограничение себя...

В этих строках – разработка темы, поднятой Гёте в сонете «Природа и искусство» (1800):

Лишь в чувстве меры мастерство приметно,
И лишь закон свободе даст главенство.

Самопостроение (занимающее видное место в произведениях Гёте, в частности в романах о Вильгельме Мейстере), самопознание поэта начинается с самодисциплины, с выработки устойчивых жизненных принципов, что окажется для Волошина особенно ценным в период эпохальных событий.

Коль необуздан ум твой – будет тщетно
Стремление к высотам совершенства, –

делает вывод Гёте. Волошин же сводит эту тему к афористическому императиву: «Безвыходность, необходимость, сжатость» – закон, имеющий отношение и к художественной форме, и к жизненному коду поведения. «Все трепеты и все сиянья жизни» могут быть сведены на нет ради совершения подвига творчества, ведь оно «является неугасимым горением совести».

Творчество – это самопожертвование, аскетизм, умаление чувств ради воли, трансформация жизненной красоты в энергию художественного выражения, умерщвление себя и возрождение в Слове.

Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли – для отрешённости сознания.
Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить –
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово, в себе несущее
Всю полноту сознания, воли, чувства.
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
Искусство живо –
Живую кровью принесённых жертв...

Стихотворение включает в себя и своеобразный очерк жизни Волошина – прошлой и грядущей.

Ты будешь Странником
По вещим перепутьям Срединной Азии
И западных морей,
Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знания,
Чтоб испытать сыновность и сиротство

И немоту отверженной земли.
Твоя душа пройдет сквозь пытку и крещение
Страстною влагою,
Сквозь зыбкие обманы
Небесных обликов в зеркалах земных вод.
Твоё сознание будет
Потеряно в лесу противочувств,
Средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира.
Твой дух дерзающий познает притяженья
Созвездий правящих и волящих планет...

Поэт – «себя забывший бог» на земле и вечный путник, затерявшийся во вселенных...

Концовка стихотворения исполнена антропософского пафоса. Мы находим здесь поэтическое выражение недавних размышлений художника о необходимости претворения мира Разума во вселенную Любви:

Когда же ты поймёшь,
Что ты не сын земле.
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду – и в тварях, и в вещах – томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты освободитель божественных имён,
Пришедший изназвать,
Всех духов – узников, увязших в веществе,
Когда поймёшь, что человек рождён,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и Разума –
Вселенную Свободы и Любви,
Тогда лишь
Ты станешь Мастером.

Волошин продолжает размышлять о ситуации, сложившейся в России, о путях выхода из неё. «Странник и поэт, мечтатель и прохожий»... – его мысли, отмеченные благородством и душевной красотой, по большому счёту, развиваются в утопическом направлении. Государство, не важно – республика или монархия, должно основываться, считает поэт, на отказе от личных страстей и инстинктов, на самоотречении и самопожертвовании. Это «фундамент, на котором может строиться общественность, и качество, которым должен обладать каждый призванный к управлению или к представительству. Между тем в современном парламентском строе система подбора общественных деятелей строится как раз на обратном: на выживании приспособленнейшего, эгоистичнейшего. Доступ к общественным должностям должен быть обусловлен возрастающим рядом обетов и отречений, подобных монашеским». Разумеется, такие требования иначе как идеалистическими не назовёшь... Осуществление их вряд ли возможно в силу неизменности человеческой природы, и уж тем более это было нереально в ту дикую эпоху всеобщего ожесточения.

Картины «разодранного» войной мира, вакханалии «взметённых толп» в России удручали и тяготили поэта. Отрываясь мыслями от грешной земли, Макс всё чаще задумывается о Граде Господнем, с высоты которого должны оцениваться история и бытие людей. С этой точки зрения, буржуазия и пролетариат едины, считает поэт, поскольку оба

сословия отталкиваются от идеала благополучия и комфорта, руководствуются исключительно эгоизмом. Законом человеческого сообщества должна стать самоотречённость, «только то, что делается для других, без мысли о самом себе и без ожидания награды. „Здоровый эгоизм“, личный и классовый, на котором строится весь современный строй (и капиталистический, и социалистический), это яд, разлагающий единение и свободу».

Идеал же Волошина сводился к тому, чтобы каждый работал на другого «безо всякой мысли об оплате», а всё нужное получал от других в виде милостыни. Во главу угла возводилось нищенство, правда, оговаривался поэт, нищенство – моральное, а не экономическое; только в этом случае и машины, и промышленность будут во благо, а не во зло человечеству.

Ещё в период Первой русской революции 1905–1906 годов Волошин много рассуждал о справедливости. В условиях нового «исторического оргазма» он вновь обращается к этой теме: «Справедливость... как порыв любви, как мятеж против беззакония, – прекрасна... Справедливость судящая, наказывающая – зло. Нет закона, справедливого для двух людей, потому что моральные пути не совпадают и героический поступок одного явился бы преступлением для другого». Чего было больше в тогдашней в России – героики или преступлений?.. Споры об этом ведутся до сих пор.

Размышляя о Граде Господнем, Волошин задумывается над евангельским «договором»: «Просите и воздастся вам...» Как это понимать? «Господь берёт на себя устройство земных дел человека, пока он сам будет заниматься делами господними. И обещает исполнение всякой просьбы, к нему обращённой... последнее обещание сводится к моральному очищению, просветлению желаний и к приведению их в гармоническое согласие с планами Божьими...»

Таковы были основные положения жизненной философии Волошина в промежуток между Февралём и Октябрём 1917 года. Добавим сюда ещё три его кратких мысли: «Собственность священна – это право дара. Моё только то, что я могу пожертвовать»; «Будущее выявляется верой, действительность – скептицизмом»; «Россия должна идти к религиозной революции, а не к социальной». Цель – «преображение личности».

Но пока ближайшие перспективы безрадостны, витающие в воздухе социальные идеи порочны. «Больше, чем когда-либо, я чувствую неприязнь к социализму и гляжу на него как на самую страшную отраву машинного демонизма Европы, – пишет художник А. М. Петровой 18 мая 1917 года. – Пролетарии, так страстно ненавидящие „буржуазию“, берут от неё все её яды, отбрасывая то, что есть в ней от общей духовной культуры – „аристократической“ культуры человечества. Социализм и „германизм“, в конечном счёте, одно и то же: обожествление „здорового комфортабельного эгоизма“. Поэтому они и чувствуют друг к другу такую неодолимую симпатию». У него крепнет убеждение (письмо от 2 июня), что «вся наша революция в конце концов окажется грандиозной германской провокацией».

Весьма знаменательное наблюдение, во многом подтверждающее взгляды современных историков на роль Германии в развязывании и стимулировании революционных событий в России. В архиве поэта сохранилась заметка, в которой он рассуждает о соответствии русской революции «интересам и планам Германии, настолько в факте её совершения заключается спасение Германии от железного кольца, которым она уже была окружена... в мышеловке, куда мы попали, приманкой были положены германской политикой свержение старого режима, гражданская свобода и социальный строй. И они знали, что мы не можем не пойти на этот кусок сала, что для нас наши внутренние немцы ненавистнее, чем далёкие немцы внешние, окружённые ореолом науки (для интеллигенции) и социал-демократии (для рабочих)...»

М. Волошин разделяет позицию Б. Шоу в отношении социализма: как он «был бы популярен, если бы не было социалистов!». Но они есть, так что «доброе во внешнем мире» ждать не приходится; из письма А. М. Петровой от 9 мая: «...не такова теперь эпоха и не

такова нравственная культура европейцев, чтобы добро и свобода могли бы торжествовать. Теперь победа за эгоизмом и жадностью». Волошин прозревает будущее, будто листает книгу: «Социализм, который, конечно, восторжествует, принесёт с собою лишь более крепкие узы ещё более жестокой государственности». Какой уж там «Град Господень», какой там социальный строй, согласный с духом Христовым, основанный на благодетии и даре...

Нет ничего удивительного в том, что поэт «безнадёжно чужд политической активности». Он признаётся, что, читая газеты, по очереди соглашается с самыми противоречивыми мнениями и выходит из себя лишь тогда, когда встречается с проявлениями человеческой глупости. Волошин не видит в России партии, с которой можно быть солидарным, в которой «хотя бы отчасти выражалось то, чего можно было бы пожелать России». К тому же сам принцип партийности был ему глубоко чужд. Художник сравнивал партийные программы с историями болезней: «Одни, – вспоминает слова поэта его жена Мария Степановна Волошина, – болят корью, другие – коклюшем, у третьих – понос. И ещё –...люди и нелюди есть во всех партиях» – наблюдение, которое трудно опровергнуть.

А между тем события нарастают как снежный ком. 3 апреля в Россию возвращается из эмиграции В. И. Ленин. За три дня до него вернулся и Г. В. Плеханов, проехавший через Англию и Францию. Ленин же махнул напрямик через Германию, с которой Россия находилась в состоянии войны. Парижская газета «Юманите» писала: «Германское правительство разрешило Ленину, стороннику немедленного мира, пропаганде которого германская печать и даже имперское правительство посвящает особое внимание, а также тридцати его единомышленникам, проезд через Германию для возвращения в Россию. Притом германское правительство предоставило Ленину разные льготы». Сегодня разговором о «пломбированном» вагоне, в котором ехал вождь революции, уже никого не удивишь. Но тогда для многих это был своего рода шок; приезд Ленина воспринимался как факт политического распутства. Аморализм Ленина вызвал протест даже в отдельных частях армии и флота.

3 июня открывается Первый Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. К этому времени были обнародованы указы Временного правительства о всеобщей политической амнистии, о свободе слова, печати, союзов, собраний и стачек, об отмене смертной казни. Было принято решение о подготовке к созыву Учредительного собрания на началах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. «Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами», – с удовлетворением констатирует Владимир Ильич. Однако у большевиков своё представление о свободе. Они готовят вооружённое восстание против Временного правительства и съезда Советов. Ещё Шигалёв в «Бесах» Достоевского писал в своей тетрадке о выходе из «безграничной свободы» в «безграничный деспотизм». Ленинцы едва ли были знакомы с романами Достоевского, однако шигалёвскую теорию они с успехом претворяют в практику жизни.

18 июня срывается русское наступление на фронте; ширится антиправительственное движение; 15 августа в Москве проходит Всероссийский церковный Собор; в конце этого месяца терпит поражение корниловский мятеж (попытка, пока ещё возможно, спасти ситуацию).

Макс по-прежнему испытывает «неприязнь и презрение» к политике как таковой. «Каждый, проваливающийся в эту кашу, – пишет он Р. Гольдовской, – отказывается одновременно и от здравого смысла и от религиозной веры, – то есть от тех двух сил, в которых исчерпаны все возможности общественного творчества». Какие-то надежды на стабилизацию положения он связывает с новым коалиционным правительством, куда вошли Н. Д. Авксентьев (с которым поэт учился в университете, поддерживал отношения за границей и которого характеризовал как «человека строгой логики», «опытного и последовательного организатора») и Б. В. Савинков. По-прежнему идеализируя «бесстрастного и мятежного» эсера, Макс видит в нём «все данные созидательной

государственной воли». Данные эти, как известно, не захотел рассмотреть Керенский (а скорее усмотрел то, что его сильно испугало) и вскоре сместил одного из «последних Валуа» с поста управляющего Военным министерством. Не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что Савинков настаивал на введении смертной казни в тылу, Керенский же был против.

Кто здесь прав? – задаёт себе вопрос Волошин. Ведь «введение казни, – пишет он А. М. Петровой 16 августа, – есть в сущности отмена самосуда (т. е. смертной же казни за ничтожные, в сущности, проступки)». Поэтому нет сомнения в том, что «она будет введена рано или поздно; самое страшное в революциях – это чувствительность: она приносит всегда в итоге самые кровавые плоды. Когда отменялась смертная казнь, я говорил: прекрасно, это, конечно, первый жест, который нужно было сделать, но, увы, он означает, что русская революция будет очень кровава... Наименее жестоки бывают те, которые убивают из необходимости и для пользы». Разве не были сентиментальны и чувствительны Робеспьер, Кутон, Марат и Сен-Жюст? Ещё в статье «Пророки и мстители» (1906) Волошин приходил к выводу: «Чем человек чувствительнее и честнее, тем кризис идеи справедливости сказывается в нём с большей силой и нетерпимостью». Впрочем, о честности и достоинствах современных Кутонов говорить едва ли приходится. Разве что – Савинков, настоящий «литейщик» этого сурового времени, «действенное и молниеносное сочетание религиозной веры с безнадёжным знанием людей»... Как видим, Макс не меняет своего отношения к близким знакомым...

Меняется ли его отношение к России? Теперь «вся Россия перенасыщена... влагой безумия и иступления», – пишет Волошин Эренбургу. Да и не он один такого мнения. «В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна, – отмечает в „Окаянных днях“ И. Бунин. – Ещё на три тысячи вёрст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладями, и всем, чего просишь... И... тогда уже говорили многие мужики с бородами:

– Теперь народ, как скотина, без пастуха, всё перегадит и самого себя погубит».

Тюрьмы распахнуты и для политзаключённых, и для уголовников. Выходите! Свобода! И это повсеместно. Характерная картина в Пензе (газетная зарисовка): «На Московской улице красные банты, красные знамёна, полотнища кумача... На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, войлочных шапочках, в казённых котлах едут освобождённые из острога уголовники, с извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! „Отречёмся от старого мира!“ Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода!» Россия, «нелепая, жестокая, несуразная, но такая родная и обаятельная», – по-женски выражает свои эмоции Р. Гольдовская, – проваливается «в тьму веков».

В Коктебеле пока относительно спокойно, хотя и совершаются отдельные налёты на дачи. Здесь ещё продолжают «внутренние» войны – «нормальных» дачников с «обормотами», которых давно уже и след простыл... Однако столп коктебельской нравственности Дейша-Сионицкая действует в духе времени. Она обвиняет Волошина и компанию в различного рода подстрекательствах и большевизме. Тем более что рядом, на даче Манасеиных, и Максим Горький – тот ещё большевик! Как удобно: теперь, что бы где ни случилось, виноваты поэты-декаденты, то бишь – большевики, ну и – писатели-пролетарии... Кстати, Волошин, возможно не сразу, проникся к Горькому определённой симпатией. Сказались открытость Макса, его доверительное отношение к людям. «Видал его каждый день, – пишет поэт М. В. Сабашниковой вскоре после отъезда писателя из Коктебеля. – В нём бесконечная внимательность и любовь по отношению ко всему окружающему и просветлённость очень больного и очень усталого человека».

А Россия хоть и с натугой, но воюет. Количество дезертиров всё увеличивается; потребность в солдатах всё возрастает. Макса Волошина вновь намереваются «забрызгать»: он получает повестку из Воинского присутствия. Хорош сорокалетний воин, с почти недееспособной правой рукой, которой он даже писать как следует не может (Макс начал пользоваться пишущей машинкой). Он и в писари-то фронтовые не годится. Разве что – подметать казармы, осуществляя тем самым «посильную помощь родине». Но пойдешь ты им докажи!.. А пойти всё же пришлось. И вот 25 августа, потолкавшись в тесном предбаннике среди сотни голых тел, Макс оказался на свободе: его снова «отбрили».

Хоть здесь не дошло до абсурда. Однако далеко не все разделяют, казалось бы, самые естественные взгляды Волошина на жизнь и смерть, на мир и войну. Даже родная мать осуждает сына-пацифиста. Марина Цветаева вспоминает их характерный диалог:

«– Погляди, Макс, на Серёжу (Эфрона. – С. П.), вот – настоящий мужчина! Муж. Война – дерётся. А ты? Что ты, Макс, делаешь?»

– Мама, не могу же я влезть в гимнастёрку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

– Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.

– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется животные инстинкты».

Ну а «дерущемуся» в пехоте Серёже Макс пытается помочь перевестись подальше от Москвы, где возможны любые беспорядки, на юг, в крепостную артиллерию и собирается обратиться с этим к своему знакомому по соседним Отузам генералу Н. А. Марксу, начальнику Одесского военного округа. Да и Б. В. Савинков пока ещё в силе... Позже, когда беспорядки выльются в революцию, Волошин будет иметь долгий разговор с Цветаевой и Эфроном по поводу «завтрашних и послезавтрашних судеб России». Он, по словам Марины Ивановны, «вкрадчиво... картину за картиной» раскрывает «всю русскую революцию на пять лет вперёд: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощённые духи стихий, кровь, кровь, кровь...». А пока что, как описывает ситуацию в Москве Сергей Эфрон, «голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки... толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвётся».

Да, процесс «разложения трупа» необратим... И главные «микробы разложения», как считает Волошин, революционеры-эмигранты, которые уж точно «построить... ничего не смогут». Да и не хотят, по большому счёту. Эти люди, пишет философ Г. П. Федотов в книге «И есть и будет», связывали «с мировой войной чаяния всемирной революции. В эту эпоху Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским, это были бесплотные духи („бесы“), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первой. Единственно русское в Ленине того времени, обратная сторона патриотизма, – его особая ненависть к России, как злейшей из „империалистических“ стран».

Вынесенный мутной волной на поверхность истории, А. Ф. Керенский оказался, как отмечают многие историки, самой подходящей фигурой для воплощения «русской свободы». Человек, чуждый армии, боявшийся ударов как со стороны большевиков, так и со стороны генералов, «слюнявый гуманист» (или, по определению Е. Д. Кусковой, «адвокат в роли маршала»), не в состоянии был предложить что-либо конструктивное. Керенский, иронически замечает Волошин, «образец пламенеющей воли к строительству, а между тем всё, что он делает... – явно тот же процесс государственного разложения», процесс, который, с исторической точки зрения, должен быть доведён до конца.

«Кажется, никогда так политически смутно и безвыходно не было, как сейчас», – пишет М. Волошин А. Петровой 19 сентября 1917 года. Однако он не падает духом. 4 октября в письме к той же Петровой, отметив «притупление впечатлительности по отношению к текущим событиям», Макс неожиданно приводит цитату из Леона Блуа, французского писателя, очень близкого поэту в последние месяцы: «Если по божественному соизволению мы смогли бы увидеть человеческую душу такой, как она есть, то мы погибли».

бы в то же мгновение, как если бы были брошены в пылающий горн вулкана». Гимн человеческой душе – в самый канун революционного оргазма!..

«24 октября. Вторник ...Все как будто в одинаковой панике, и ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков, – записывает в дневнике свои наблюдения З. Н. Гиппиус. – На улице тишь и темь...

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место – Вр. Правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит...

Сейчас большевики захватили „Пта“ (Петр. Телегр. Агентство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.

Словом, готовится „социальный переворот“, самый тёмный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час».

25 октября большевики совершают то, что задумали. З. Н. Гиппиус: «...На окраинах листки: объявляется, что „Правительство низложено“... Данный, значит, час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки „пр-ва“ сидят в Зимнем дворце. Карташов недавно телефонировал домой в общеуспокоительных тонах, но прибавил, что „сидеть будет долго“...»

Волошин – в стихотворении «Петроград» (1917):

...Народ, безумием объятый,
О камни бьётся головой
И узы рвёт, как бесноватый...

Зинаида Гиппиус: «26 октября. Четверг . Торжество победителей. Вчера, после обстрела, Зимний дворец был взят. Сидевших там министров (всех до 17, кажется) заключили в Петропавловскую крепость...

Вчера, вечером, Городская Дума истерически металась, то посылая „парламентёров“ на „Аврору“, то предлагая всем составом „идти умирать вместе с правительством“. Ни из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло...

Позиция казаков: не двинулись, заявив, что их слишком мало и они выступят только с подкреплением. Психологически всё понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контр-революционерами?..

Но дело не в психологиях теперь. Остаётся факт – объявленное большевицкое правительство: где премьер – Ленин-Ульянов, министр иностр. дел – Бронштейн, призрения – г-жа Коллонтай и т. д.

Как заправит это пр-во – увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-тысячной банды гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников...

Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними... вовсе не „большевики“, а вся беспросветно-глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слово „мир“. Но, хотя – чёрт их знает, эти „партии“, Черновцы, например, или новожиженцы (интернационалисты)... Ведь и они о той же, большевицкой, дорожке мечтали...»

Итак, свершилось... Но в «пустынном затворе» Коктебеля трудно осознать истинный масштаб случившегося. Газеты сюда практически не доходят. «Какие смутные и тревожные дни... – пишет поэт 3 ноября своей постоянной корреспондентке Петровой. – Хочется знать, что делается в России и под каким правительством мы живём...» И только 10 ноября прибывшие из Москвы Сергей Эфрон и Марина Цветаева выступают в роли вестников – как в античной трагедии, ибо то, что происходило в столицах, по трагизму не уступало произведениям Эсхила или Софокла. И очень напоминало то, что произошло во Франции в

конце XVIII века. Не случайно монография Ипполита Тэна «Происхождение современной Франции» стала настольной книгой Волошина ещё с лета. Заворожённый историческими аналогиями, поэт приходит к выводу, что большевистский режим – никак не однодневка, что «если он не будет сметён внешними военными событиями, то у него все данные укрепятся посредством террора на долгое время». Последствия 1917 года Волошин увидит сквозь призму «Термидора»¹¹ (именно под таким названием он объединит четыре сонета) – самого страшного периода в развитии французской революции 1789–1794 годов:

Казнят по сотне в сутки. Город замер
И задыхается. Предместья ждут
Повальных язв. На кладбищах гниют
Тела казнённых. В тюрьмах нету камер...

Это ли не суровое предвидение Гражданской войны в России?..

И всё же Волошин отдаёт себе отчёт: умерла русская государственность, но не Россия. У поэта нет страха за её «духовную сущность». Сквозь грязь, кровь, сумятицу и абсурд начавшегося лихолетья настойчиво прорывается «глубочайшая моральная идея Святой Руси». Сорванная с пути истинного, соблазнённая преступными вожжами, сама себя позорящая и всё же непорочная, родина, Русь ведёт себя так, как «во Христе юродивый». Именно в этом состоянии она являет собой «зрелище беспримерного бескорыстия, – утверждает Волошин в статье-лекции „Россия распятая“, – не сознавая своей ответственности перед союзниками, ею отчасти вовлечёнными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в её имперский состав, – к Польше, Украине, Грузии, Финляндии – и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собиравшиеся в течение веков, несправедливым, как ей казалось, путём, земли, права, сокровища». Раздала... вот только кому? Разбойникам, смердам да отсидевшимся за границей супостатам. И с чем осталась сама?!

...Быть царёвой ты не захотела –
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей да расточи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть – холопам, силу – супостатам,
Смердам – честь, изменникам – ключи.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посадки и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.

Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, –
Ты – бездомная, гуляющая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!

¹¹ Термидор – одиннадцатый месяц (19/20 июля–17/18 августа) французского республиканского календаря. Термидорианский переворот (27/28 июля – 9 термидора) 1794 г. отправил Робеспьера и его сподвижников на гильотину. – Ред.

(«Святая Русь».)

И всё же – есть ли чисто историческое, научное объяснение этому безумию? Можно сколько угодно говорить о «бесах-социалистах», о том, что Керенский не соответствует занимаемому посту, что он «производит впечатление человека, сошедшего с ума», что силы свои он «поддерживает морфием, который принимает в громадном количестве», что для него «подписать смертный приговор является актом действительно невыносимым»... Однако дело не столько в конкретных личностях, сколько в глубинных исторических процессах, в самой природе и национальной специфике власти. В лекции «Россия распятая» Волошин пытается объяснить политическую катастрофу в историко-философском ключе.

Главной чертой русского самодержавия, считает поэт, была его революционность: «...в России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революцию сверху, старалась административным путём перекинуть Россию на несколько столетий вперёд, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского Приказа». Для проведения в жизнь своих планов революционное самодержавие нуждалось в помощниках, в специальном аппарате. Для этой цели была создана опричнина; впоследствии на свет явились разночинцы. «Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя и выкристаллизовалась русская интеллигенция»:

...В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий –
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, –
Бесценный вклад для революций сверху.
Но просвещённых принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев при Втором.
...Отвергнутый царями разночинец
Унёс с собой рабочий пыл Петра
И утаённый пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона...

(«Россия», 1924)

Что же касается династии Романовых, считает Волошин, то можно говорить о её вырождении уже в XIX веке. Более того: эта фамилия «в сущности изжила своё цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Голштинского, Вюртембергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николая I и Александра III всё же более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первого самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая как раз созрела к тому времени». Среднего, порождённого российской историей интеллигента Волошин представляет в поэме «Россия»

...Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив,
По профилю самодержавья: шишка,

Где у того кулак, где штык – дыра.
На месте утвержденья – отрицанье.
Идеи, чувства – всё наоборот.
Всё «под углом гражданского протеста».
...Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним
На каторге – по Ленам да по Карам...
Почти сто лет он проносил в себе –
В сухой мякине – искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.

Парадокс, по мнению Волошина, заключался в том, что то сословие, которое было создано самой монархией и предназначено для конструктивной государственной работы, было ею же и отвергнуто. Более того – признано подозрительным и нежелательным. Тогда-то и возник тип «лишних людей», столь добросовестно описанный в литературе, вобравший в себя «всё наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени». Именно на этом этапе правительство, «перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя». Радикальные идеи, забродившие в этой среде, и стали тем детонатором, который привёл к взрыву. И уже очень скоро революционно настроенная интеллигенция вынуждена будет «убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от костей русской монархии и что, свергнув её, она подписала этим свой собственный приговор, т. к. бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием. Но раз сами стены рушились – она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать». «Строить стены» начнут новые «архитекторы», и это уже – отдельная тема, а судьбу русского интеллигента, «пасынка, изгоя самодержавья», Волошин провидит в своей поэме:

...И кровь кровей, и кость его костей –
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжён.
Судьбы его печальней нет в России.
И нам – вспоённым бурей этих лет –
Век не избыть в себе его обиды:
Гомункула, возвращённого Петром
Из плесени в реторте Петербурга.

(«Россия»)

Осенью 1917 года трагедия русской интеллигенции ещё только обозначилась – она наберёт ход в последующие десятилетия; крушение же государственности дало о себе знать уже в конце ноября, когда в Брест-Литовске начались российско-германские переговоры о мире. Как известно, весь большевистский актив был против подписания Брестского мира; большая часть партийных функционеров поддерживала формулу Троцкого: «ни война, ни мир». Ленин же руководствовался чётким принципом: удержание собственной власти и лидерство в мировом коммунистическом движении. Брестский мир, разумеется, сводил к нулю надежды на немедленную революцию в Германии, срывал революционный процесс в Европе, но Ленина это уже мало волновало: он не мог допустить, чтобы центр коммунистического движения переместился на индустриальный Запад. Лидер немецких коммунистов К. Либкнехт играл в свою игру: он считал, что если переговорный процесс не приведёт к «миру в социалистическом духе» (естественно, для Германии), то необходимо

будет «оборвать переговоры, даже если бы при этом пришлось пасть их (Ленина и Троцкого. – С. П.) правительству». Как видим, интересы борцов за коммунистическое будущее явно не совпадали. Либкнехт был заинтересован в том, чтобы Германия как можно скорее проиграла войну. Ленин стремился к расколу западного мира, к блоку с германским правительством против Англии и Франции. Он не без основания опасался, что советская власть будет сметена силами как побеждённой Германии, так и победительницы Антанты сразу же после заключения на Западном фронте «настоящего», общего мира.

Забегая вперёд, следует сказать, что Брестский компромисс, несмотря на тяжёлые и позорные для России условия, не принёс ни заветного мира, ни обещанной Лениным «передышки». Война на территории бывшей Российской империи не прекращалась ни на день; Германия беззастенчиво захватывала регионы, находящиеся значительно восточнее установленной договором границы. В сущности Брестский мир оказался «бумажным», поскольку обе стороны преследовали свои цели, выходящие далеко за пределы этих ничего не значащих, со стратегической точки зрения, соглашений.

Надо ли говорить о том, что начавшийся переговорный процесс воспринимался М. Волошиным совершенно в другом ракурсе. Какова была его позиция в этом вопросе? Откроем ещё раз «Заметки 1917 года». Макс убеждён, что «в возникновении войны виновата не только Германия»: ответственность лежит на всех воюющих державах; «виноват тот, кто начинает, но тот, кто продолжает, виноват ещё больше». Однако, каковы бы ни были «роковые причины, породившие эту войну и придавшие ей её дьявольский облик, мы обязаны честно исполнить свои обязательства и не быть предателями своих союзников»; Волошин напоминает про «долговые обязательства по отношению к Англии, Италии и Японии», про «долг чести перед Францией», про «долг совести по отношению к Румынии и Сербии, перед которыми мы глубоко виноваты». И – вывод: «Каково бы ни было наше личное, наше моральное отношение к войне, – прежде всего эта война должна быть доведена до конца». Однако последовал «ловкий политический ход» большевиков, приведший к позорному миру; впрочем, говорит поэт уже в лекции «Россия распятая», это «несколько не снимает тяжёлой моральной ответственности со всего русского общества, которое несёт теперь на себе все заслуженные последствия его».

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

(«Мир»)

Переговоры в Брест-Литовске начались 20 ноября 1917 года. Мирный договор с Германией был подписан 3 марта 1918 года, а под стихотворением стоит дата: 23 ноября 1917 года (Волошин утверждал, что написал его в день открытия переговоров). Во всяком случае, пафос здесь не в позорных условиях капитуляции, против которых, по мнению некоторых критиков, выступает автор, а в беспокойстве поэта за возможный поворот событий, за судьбу России, поставленную в унижительное положение. К тому же Волошин,

как уже говорилось, сознавал ответственность России «перед союзниками, ею отчасти вовлечёнными в войну». С горькой иронией он вспоминал о том, как В. Брюсов, «предлагая текст воззвания к народу, говорил: „Мы должны сказать Франции, Бельгии и Англии:… Не рассчитывайте больше на нашу помощь… потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию“». Да, «тяжёлая моральная ответственность» ложится и на интеллигенцию, обнаружившую свою «государственную беспочвенность».

Волошин полагал, что лобовое столкновение с Германией вряд ли могло бы привести к положительному для России исходу. Бороться с германским «Левиафаном» эффективнее не извне, а изнутри. Всякое внешнее столкновение лишь укрепит его силу, возвысит национальный статус. Но в случае внешнего поражения России славянство, «которое окажется внутри Германской империи… больше сделает для преобразования её, чем то, которое будет отчаянно и безуспешно… бороться с нею извне. Если бы среди большевиков нашёлся… такой гениальный и смелый политический ясновидец, который решился бы пойти навстречу историческому процессу и включить всю Россию в состав (не только в союз) Германской империи, то таким самопожертвованием можно было бы в течение двух-трёх поколений подточить и разрядить германский империализм изнутри, тем анархическим христианским зарядом, что заложен в славянстве» (из письма к А. М. Петровой от 15 января 1918 года). Несколько раньше, 9 декабря, Волошин писал: «Мне представляется вполне возможным повторение судьбы Греции и Рима: то есть полное государственное поглощение России Германией и новый государственный сплав, который даст России, славянству впоследствии пережить на тысячелетие Германию. Быть может, это и будет обетованным тысячелетним царством святых и Христа во „славе“ его».

Что же касается стихотворения, то оно, разумеется, вызвало взрыв возмущения. Вскоре после его публикации в московской однодневной газете «Слову – свобода!» газета «Мысль» поместила краткий отклик на стихи Волошина: «Желание увидеть страну „под немцем“ является… шагом, обнаруживающим большую политическую нетактичность». А ведь был уже, думали тогда отдельные литераторы, философ и поэт В. С. Печерин, бежавший из николаевской России на Запад, который в начале 30-х годов XIX века воспевал ненависть к отчизне и жаждал её разрушения как залога «Всемирного денницы возрождения». Однако Волошин, во-первых, никуда не пытался бежать; во-вторых, не питал ненависти к своей родине, хотя и надеялся, как, возможно, и Печерин, на её возрождение «в духе», рассчитывал на импульс «славянством затаённого огня».

Возносясь в своих стихах и письмах к высоким материям, в быту поэт переживает серьёзные трудности. Елена Оттобальдовна, уже не в первый раз, превращает жизнь сына в настоящий кошмар. Оправившись от летнего недомогания, вызванного хронической эмфиземой лёгких, Пра берётся за хозяйство, вызывающее у неё непреходящее отвращение (прислуги в доме не было). Своё раздражение она частенько срывает на попадающемся под горячую руку Максе. «Очень тяжело, Александра Михайловна, – обращается поэт к своей постоянной поверенной в мыслях и чувствах Петровой, – всё время живёшь под окриком, и день начинается с горьких и бурных упрёков, после которых чувствуешь себя совершенно разбитым и ни на что не способным.

Опять ни о каком писании стихов, что я рассчитывал на осень, не может быть и речи. Я совершенно не понимаю, что от меня требуется: то чтобы я готовил обед, то чтобы я чинил себе бельё, то упрёки в том, что я ничего не делаю, только „картиночки пишу“. Когда же я возражаю, что этими картиночками я заработал за этот год больше тысячи рублей, то мне говорят, что это так мало, что и работать не стоит, что все теперь зарабатывают гораздо больше, почему я не пишу статьи в газеты и т. д. и т. п. По поводу каждого нового лица, будь то Эренбург или маленькие дети Кедровых, мама начинает завидовать, почему я не такой хороший, и снова целый бесконечный ряд погрёков и упрёков. Между нами нет никакого иного разговора, как этот или хозяйственные жалобы». Знакомая ситуация… Сколько творческих личностей вынуждено было проходить через бытовые кошмары, сколько их было обречено на вечное непонимание близких людей!.. 12 ноября он вновь поднимает эту тему в

письме тому же адресату: «Я стараюсь делать всё. Но странно, что гнев и раздражение мамыны только растут: я не могу шевельнуться, всё служит предлогом раздражения и самых горьких упреков. Теперь на меня кричат, что я всячески отлыниваю от работы. Вообще у меня такое впечатление, что меня на старости лет отдали в кухонные мальчишки, и кажется, что так даже на прислугу не кричат, как на меня. У меня часто ощущение, что это всё кошмар и во сне». Конечно, приезд Марины и Серёжи вызвал некоторую психологическую разрядку, но принципиально мало что изменил. Как был, так и остался «тот же уютный домашний ад...».

Впрочем, настоящая преисподняя разверзается за пределами дома. «Да, мы в аду – ты прав, – пишет Волошин Эренбургу 27 ноября, – с тою лишь разницей, что в настоящем – церковном – аду гораздо больше порядка, логики и системы». Поэт имеет в виду то адское безумие, которое вскоре запечатлится в стихах его любимой Марины Цветаевой:

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте – на вес – часовни,
Монастыри – с молотка – на слом,
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!..

Да и сам Волошин, совсем недавно ощущавший себя «идиотом... неспособным написать двух стихов», к концу года выходит из кризиса. Он сознаёт, что творчество, поэзия – «единственный достойный ответ на действительность». 9 и 10 декабря появляются два его программных стихотворения: «Петроград» и «Трихины». Волошин как поэт и историк хорошо понимал, что в «сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действия был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра». Поэтому именно туда первоначально устремились «духи мерзости и блуда... Вопя на сотни голосов...». «Престол петербургской империи, – говорит Волошин в лекции „Россия распятая“, – был сколочен Петром на фигуру и на весь <рост> медного исполина. Его занимали карлики». И вот теперь –

Сквозь пустоту державной воли.
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод...

Что же послужило причиной этого бесовского разгула – карлики-цари, безвластие или что-то внутри человека? Почему «каждый мнит, что нет его правей»? Как получилось, что «Ремёсла, земледелие, машины / Оставлены. Народы, племена / Безумствуют, кричат, идут полками...»? – вопрошает Волошин, уже предвидя безудержность Гражданской войны...

1918 год ознаменовался для Макса выходом в свет его книги избранной лирики «Иверни» (издательство С. А. Абрамова «Творчество», тираж 12 тысяч экземпляров). По мнению поэта и переводчика Г. А. Шенгели, этот сборник выявляет «весь рост и все завершения волошинского мирозерцания и рисует нам его *поэтом космической пышности*». В 1919 году в том же издательстве выходит книга Волошина «Верхарн (Судьба. Творчество. Переводы)». Макс ценил бельгийского поэта «как социального пророка, как поэта города, поэта промышленности, поэта современности», особенно – как поэта «ветра и стихийной жизни природы». Волошин отдавал должное «грандиозности его метафор, которые в своей неудержимой стремительности растут, как снежная лавина, достигая до

размера геологических катаклизмов». Верхарн, по мнению русского собрата по перу, первым из поэтов передал «...„пафос толпы“. Были и до него поэты, воспевавшие революцию, но они говорили обычно лишь патетические слова...»; заслуга же Верхарна в том, что он «первый дал не оду, а попытался зафиксировать состояние духа, брошенного в водоворот современного города, и расчленил основные силы, образующие его лихорадочное бытие».

Однако его книга лирической прозы «Окровавленная Бельгия» (1915) и поэтический сборник «Алые крылья войны» (1916) Волошина, как уже говорилось, разочаровали. Варьирование образов добродетельной Бельгии и порочной злодейки Германии недостойно большого художника. Верхарн, как и любой поэт в сходной ситуации, утрачивает «право на ненависть», ведь злейшие враги «слиты в одном объятии».

Её надо одолеть – самоё войну, – а не противника». Здесь необходимо, чтобы «кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев». То же мировосприятие Волошин сохранит и в годы Гражданской войны. «Фанатики непримиримых вер», красные и белые – действующие лица единой драмы, страшного разрушительного процесса. «Он всегда считал, что борьба является неким сплавом между врагами, – вспоминала коктебельская старожилка певица М. Н. Изергина, – и, может, не желая этого, они, соприкасаясь, чем-то обмениваются и одаривают друг друга». Макс понимал, что «взаимобогащение» противников может быть порочным и разлагающим. Вспомним его высказывание: пролетарии, «так страстно ненавидящие „буржуазию“, берут от неё все её яды...».

Между тем «яды» революции проникают и в Крым. В декабре создаётся Военно-революционный комитет в Севастополе; в Бахчисарае пока ещё правит бал Директория – правительство татарских националистов; возникают перестрелки; проливается – пока ещё в малых масштабах – кровь, льётся – в очень больших количествах – вино... Солдатский «пьяный бунт» произошёл в Феодосии в середине октября 1917-го; в начале января 1918-го в Севастополе и Феодосии празднуют закрепление советской власти... В эти дни Волошину самой злободневной представляется тема Стеньки Разина: «Сейчас начинается настоящий Стенькин Суд, – пишет он 25 декабря 1917 года А. М. Петровой. – Самозванчество, разбойничество... вот основные элементы всякой русской смуты (написан уже и „Dmetrius Imperator“. – С. П.). Не думайте, что слова Стеньки в стихах о равенстве – это натяжка на современность: это точные слова из „Прелестных писем“».

Хочется к этим двум фигурам приписать ещё третью – экстаз упорства – Аввакума... У меня мысль назвать ту книжку, что уже образуется из ранее написанных стихов, „Демоны глухонемые“, с эпиграфом из Тютчева... Мне кажется, что это подойдёт к стихам, в которых будут революционные отсветы разных веков и широт». Сборник «Демоны глухонемые» выйдет только в январе 1919 года, в Харькове (издательство «Камена», тираж 1500 экземпляров, рисунки – автора).

Тем временем волна революции докатилась до Коктебеля. 9 января 1918 года Волошин сообщает Петровой: «Вчера приходили к Юнге султановские крестьяне (из соседней деревни Султановки. – С. Я.) и предупредили, что через два дня придут делить имущество и землю. Так что завтра нам предстоит Социалистическое крещение. Бедная Дарья Андреевна Юнге ожидает на этих днях рождения ребёнка. Так что всё одно к одному. Она перебирается с детьми пока к нам. Как это коснётся других обитателей Коктебеля, трудно предвидеть. Но у Юнге большой винный погреб, который весьма может воодушевить гражданские чувства. У меня большой фатализм, и я буду заниматься своим делом до последней минуты».

10 января всё и свершилось. Грабежи не заставляют себя долго ждать. Явились крестьяне делить экономию (хозяйство) братьев Юнге. В результате, пишет Волошин 15 января, экономия была «социализирована»: «Вылито вино, разделён скот, хозяйственные орудия, разграблены все припасы. Готовились уже приступить ночью к социализации дома, мебели, библиотеки и аукциону картин, рукописей покойной Екатерины Феодоровны и рисунков её отца, графа Фёдора Толстого, но по счастью мне удалось... вызвать отряд „красногвардейцев“. Его привёл ночью верхом Н. Н. Кедров, и как раз вовремя. На другое

утро – это было вчера – мы же, по неизреченной иронии судьбы, устраивали в деревне большевистское правительство, порядок и т. д. Кажется, летние вопли Дейши о том, что я – самый главный большевик, принесли хорошие плоды, потому что и красногвардейцы, и местные большевики относились ко мне как к авторитету и охотно слушались. Что будет дальше, неизвестно, но пока волна погрома остановилась. А она грозила перекинуться и на дачи, так как султановцы говорили, что вот покончим с Юнге и пойдём дачи делить».

Дом самого поэта «счастливый жребий... не оставил» – в первый, но не в последний раз. Председатель феодосийского ревкома Александров выдал Максуду соответствующую бумагу, воспрещающую «какое-либо насильственное посягательство на имущество господина М. Волошина и хранящуюся у него библиотеку, художественную коллекцию картин, скульптурных слепков и рукописей». Да, пока что в местных органах – почти всё как у людей. Впечатления Макса от общения с представителями власти в общем благоприятные. Поэт спешит воспользоваться ситуацией и вытребовать охранные грамоты также для коллекций Юнге и Карадагской биологической станции.

Складываются первые впечатления о новом строе и его рядовых представителях. «Первоисток всего нашего хаоса, – пишет поэт М. В. Сабашниковой, – это беспредельная, совершенно детская доверчивость и такая же детская вера в возможность немедленного осуществления социалистического рая; а рядом с этим, как основной порок, – очень примитивная жадность. Весело смотреть, как им приятно играть в революцию: скакать, распорядиться, спасти, карать, произносить обращения к народу, стрелять из ружей... Всё это сопровождается и настоящим самоубийством и кровью, но всё же не в таком количестве, как могло быть». Да, пока что ещё «весело смотреть» и кровь – «не в таком количестве», но при этом «неизвестно, не социализируют ли заодно и нас?..» (из письма Г. Шенгели). Впоследствии на место слова «социализируют» заступают более выразительные определения: «хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»... Но уже сейчас поэта переполняют самые мрачные предчувствия. «Во внешних обстоятельствах я ничего доброго не жду, – пишет он 25 января Ю. Оболенской. – Напротив, каждую минуту считаю возможным полным разгром и кровь, и всё, что угодно».

Словно предвидя всё это, патриарх Московский и всея Руси Тихон выступает 19 января 1918 года с посланием, в котором предаёт анафеме власть, проявляющую «самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми» – над законами, над страной. Патриарх призывает православное духовенство и всех верующих к оказанию сопротивления большевикам. Именно церковь, считает Волошин, должна проявить в это трудное время упорство в отстаивании вечных истин, в борьбе за справедливость и милосердие, несмотря на возможные нападки и гонения. В данном случае «это то, что можно только ей пожелать для её очищения и возрождения». Ведь церковь уже два века пребывает «в параличе». «Дальнейший логический шаг – это арест патриарха, и только это может утвердить его духовный авторитет». Поток ассоциаций относит поэта к другому религиозному борцу за истину – неистовому старообрядцу протопопу Аввакуму. Волошин зачитывается Житием Аввакума, считая его «совершенно поразительным и единственным в старо-русской литературе произведением по силе и по языку».

Однако ассоциации, как это обычно бывает у Макса, приобретают и совершенно неожиданное направление. Работая над поэмой «Протопоп Аввакум», Волошин 19 января делится своими соображениями с Петровой: «Меня волнует то лицо, которое я чувствую всё время за Аввакумом. Это – Бакунин. Я чувствую их органическую связь, но совершенно не знаю, как её выявить и передать, настолько они сейчас далеки для общего представления. Между тем они выражают собой основную черту русской истории: христианский анархизм». Дело в том, поясняет свою мысль поэт, что христианства «чистого, с церковью, иерархически связанной с ангельскими иерархиями, историческое христианство не знало до сих пор (может, узнает в ближайшую к нам эпоху, когда личность Христа начнёт манифестироваться на эфирном плане)». Не порвавший полностью с антропософией, Волошин имеет в виду то время, когда, по словам Р. Штейнера, люди «получат дар

ясновидения и научатся общаться с высшими существами, которые в них. Люди увидят Христа в эфирном теле. Немного будет таких, но будут».

На Западе, продолжает художник, «произошёл сплав церкви с Римской империей, и это определило латинскую церковь. В славянстве же христианство имеет тенденцию переноситься целиком в индивидуальное чувство и противопоставлять себя государству, как царству зверя. Поэтому в народовольцах и террористах не меньше христианства, чем в мучениках первых веков, несмотря на их атеизм. Вот в этой плоскости я чувствую какое-то конгениальное родство Аввакума и Бакунина». Демоническая фигура революционера-анархиста занимает воображение Макса и сама по себе. Позднее, в поэме «Россия», он сделает этот образ воплощением национального менталитета, революционного «творчества» на Руси: «...Бакунин / Наш истый лик отобразил вполне. / В анархии всё творчество России: / Европа шла культурой огня, / А мы в себе несём культуру взрыва».

Характеризуя в этом же письме ситуацию в России, поэт говорит о своём неверии в то, что «социализм и демос могут отучить Великороссию от старых повадок. Нет у них никакой воспитательной силы». Да и куда может прийти современное общество, в котором – «равнение по безграмотному и по лентяю...». Но и здесь поэт находит зерно, которое может дать всходы: «...теперь Россия всё своими руками прощупает... В этом смысле большевики – самый лучший учитель».

В Крыму стоит чистая, прозрачная зима: «...вовсе не тяжело, а как-то прекрасно – звёздно». Что больше воздействует на душу – погода, история? Волошин всё-таки поэт, а не аналитик. Смутно, смутно на душе, но не безысходно. «Не знаю, откуда это чувство. Раньше всё было сдавлено, под спудом, спёрто. А теперь... ну прорвался нарыв, или, чтобы поэтичнее выразиться, весна (видимо, имеется в виду февраль 1917-го. – С. П.) растопила снега и развезло грязные дороги, сплошная грязь. Это стихия, и разрешится она своими стихийными, нечеловеческими законами. Мне кажется, что дело не в жоках, не в лозунгах, а в стихийной воле народа, которая, проявляясь безобразно в морали отдельного лица, к чему-то своему идёт – к своей правде...» Только вот к какой? Да, что-то ушло бесповоротно, что-то ещё только начинается...

Волошин пытается, как в прежние годы, смотреть на всё происходящее издали. Все «возмущения» и «негодования» кажутся ему сейчас «чем-то... ненужным и неуместным, жалким...».

Однако смотреть на происходящее со стороны, оставаться созерцателем не всегда удаётся, поскольку настоящее часто задевает его самого. В феврале надвигается волна «контрибуций», разумеется, на «буржуазию». Это и понятно: ради чего тогда революцию делали?! «В Феодосии уже все капиталисты (биржевой комитет) сидят в тюрьме – пока не уплатят 5 миллионов», – информирует поэт Ю. Оболенскую 25 февраля. Он позволяет себе даже поиронизировать на этот счёт: «Я немного удивляюсь тому, почему так медлят... с массовыми избиениями буржуев. Всё-таки русский народ ужасно добродушен и его надо долго раскачивать. Но, в конце концов, мы ещё придём к этому».

Придём, ещё как придём... А пока что шутник накаркал беду самому себе: буквально через два дня контрибуцию предлагают уплатить и ему. Ни много ни мало три тысячи рублей. Но ведь он же поэт, художник! Как может литератор, не имеющий ни батраков, ни наёмных рабочих, ни капиталов в банках или сундуках, именоваться «буржуем»? Но сейчас всё может быть, ведь, как он сам вскоре напишет, в России «жизнь и русская судьба / Смешала клички, стёрла грани...». Так что будь любезен, господин поэт-дачевладелец, заплати! Ну ладно, чёрт с тобой, не три, а одну тысячу рублей, и впредь не шути с Земельным комитетом!

Вот как... «Сделали мне честь считать меня (!) капиталистом, – выпускает новоиспечённый „буржуй“ пары в письме к Петровой. – Ходил сегодня объясняться с Земельным комитетом... Потому что этого звания я на себя добровольно принимать не хочу... Кроме того, приезжали красногвардейцы искать оружие: кто-то распространяет <слухи >, что у меня почему-то должно быть оружие. Но, к счастью, и они были очень

вежливы, сказали: „Мы ведь вас знаем: вы художник“».

Много любопытного узнаём мы из писем поэта к А. М. Петровой в тот зимний, в прямом и переносном смысле, период смутных настроений, предшествовавший настоящей Смуте. То, что, например, Макс верит слухам о поражении большевиков в Петрограде в середине января, причём мистически соотносит это событие с написанием стихотворения «Из бездны» («Для разума нет исхода, / Но дух ему вопреки /И в бездне чует ростки / Неведомого всхода»); что общение «с большевиками, красногвардейцами и аграрниками», вызывающее ощущение «неустойчивости – зыбкости», порождает ассоциации с Николаем II, будто бы «растворившимся во всём народе»; наконец, то, что прибывшие с Кавказского фронта оголодавшие солдаты на феодосийском базаре «турчанок продают по 25 р. (и как дешево!)».

Ю. Оболенская в письмах к поэту рассказывает о колоритных деталях городского быта, о настроениях простого люда. Вот, например, пьяный рабочий в трамвае сетует на «неподобные нерусские слова»: «Декрет... Трубинал... декрет. Трубинал. Были бы русские слова, сказали бы не декрет, а „хлеба нет“; не „трубинал“, а „и муки не будет“, а так кто их разберёт: Декрет... Трубинал». Что ж, вскоре эти нерусские слова войдут в плоть и кровь русского народа, революционная «терминология» будет восприниматься с полуслука.

Узнав от Петровой о смерти своей подруги детства, преподавателя словесности, сорокалетней Веры Матвеевны Гергилевич (той самой Веры Нич) прямо на уроке от разрыва сердца, Макс отвечает: «Смерть её так неожиданна, она казалась предназначенной для долгой жизни... Правда, это не привилегия – оставаться теперь в живых, и кажется, что смерть милует тех, кого увидит раньше, и без насилия и издевательства». «Критическим моментом» всего этого «хаоса», очевидно, будет март, считает Волошин. «В течение этого месяца он разрешится в какую-то сторону... Но в какую? Немецкое завоевание неизбежно, но оно ужаснее всего (новый поворот старой темы. – С. П.). Оно слишком многих должно соблазнять иллюзией и обетованием какого-то порядка... но это будет порядок похоронной процессии». (11 февраля Н. В. Крыленко, тогдашний Верховный главнокомандующий, издаёт приказ о прекращении перемирия с немцами, а 19-го – об оказании сопротивления наступающим германским войскам.)

От этих неотвратимых мыслей может отвратить только работа, стихи. Поэту важно знать, «как они принимаются. Это надо для дальнейшей работы. Ведь понимание освобождает, отнимает сделанное – даёт возможность сейчас же перейти к следующему. А это мне так важно теперь, когда некогда останавливаться и подолгу вслушиваться в свои слова, как я всегда делал, себя проверяя. Теперь каждому время считано, каждый как бы в ожидании возможного смертного приговора: оттого так легко и светло на душе, несмотря ни на что. Если преодолеть в себе страх потери и страх страдания, то чувствуешь освобождение невыразимое». А потом наступает «момент, когда ничего нельзя делать (может, даже воплощать в слове), а можно только молиться за Россию».

Духовное «освобождение» – это, конечно, хорошо, но в плане материальном освобождение, как ни теоретизируй, не всегда желанно. Макс совершенно не хочет «освободиться» от своего дома. Между тем в Коктебеле начинают покушаться на дачи, и поэт вынужден отправиться в Феодосию для выправления очередной бумаги на право владения своим жильём. 5 марта он получает в Совете «Охранное свидетельство», которое гласит: «Дано... поэту и литератору Макс. Ал. Волошину в удостоверение того, что находящиеся в его заведовании коллекции, помещающиеся в с. Коктебель и заключающиеся в библиотеке и разного рода художественных произведениях, художественной мастерской и архив, как представляющие культурные ценности России, являются НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ и взяты Феодосийским уездным Советом рабочих, военных и крестьянских депутатов под свою охрану».

Можно бы возвращаться домой, но Макс, как водится, всё, что делается вокруг, становится «удивительно интересно». Уехав из Коктебеля на пару дней, Волошин задерживается в Феодосии чуть ли не на полтора месяца. Ведь именно тогда, в начале весны,

в этом приморском городе было особенно ощутимо, как «Войны, мятежей, свободы / Дул ураган». Эпиграфом к пребыванию в «богоспасаемом граде» послужила радостная фраза первого встречного мальчишки: «А сегодня буржуев резать будут!» Городские обыватели предстоящее мероприятие воспринимали спокойно, как плановый театральный просмотр, и будто в предвкушении этого находились в приподнятом настроении. Прибыли и «артисты» – специалисты в своей области, матросы. Однако, к разочарованию «зрителей», на общем собрании-митинге расширенного состава «труппы» большинством в шесть голосов было решено: пока резать не надо – потом. «Миноносец „Румыния“ с матросами-резаками, который приходил специально для этой цели, обиделся и совсем ушёл», – сообщает Волошин Оболенской. Позднее, летом 1919 года, в стихотворении «Большевик» (из цикла «Личины») он напишет:

Когда матросы предлагали
Устроить к завтрашнему дню
Буржуев общую резню
И в город пушки направляли, –
Всем обращавшимся к нему
Он заявлял спокойно волю:
«Буржуй здесь мой, и никому
Чужим их резать не позволю».

Что ни говори, а «в нём было чувство человечье – / Как стадо он буржуев пас...». То ли дело просто «Матрос» (так озаглавлено другое стихотворение из этого цикла), тот ни с кем не церемонился:

На мушку брал да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки...

А уж какое разножанровое действо разворачивалось на морской глади, какие декорации, какие персонажи... Чёрное море, открывающееся с феодосийской набережной, кишело самыми диковинными посудинами – «старыми, заплатанными, заржавленными», извергавшими из себя на берег «самые диковинные племена»: «Армяне – беженцы из Трапезунда, русские солдаты из Анатолии, армянские ударники с Кавказа, румынские большевики из Констанцы, остатки Сербского легиона из Одессы. Не Феодосия, а Карфаген времён мятежа наёмников. Всё это толпилось, бродило, демонстрировало свои политические убеждения плакатами и флагами по Итальянской...» И, разумеется, попадало в стихи:

Из дальних черноморских стран
Солдаты навезли товару
И бойко продавали тут
Орехи – сто рублей за пуд,
Турчанок – пятьдесят за пару –
На том же рынке, где рабов
Славянских продавал татарин.
Наш мир культурой не состарен,
И торг рабами вечно нов.
Хмельные от лихой свободы
В те дни спасались здесь народы:
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Толкались в пристань, швартовались,
Спускали сходни, разгружались

И шли захватывать «Совет».

(«Феодосия (1918)», 1919)

Дело в том, что из оставленной в эти дни большевиками Одессы прибыло в Феодосию солидное и пёстрое подкрепление в лице «анархистов-коммунистов», «анархистов-террористов», громил-любителей и всяких «промежуточных» революционных «команд». Бороздили прибрежные воды всевозможные и немыслимые: «„Семёрки“, „Тройки“, „Румчерод“, / И „Центрослух“, и „Центрофлот“». И каждая «бригада» норовила прежде всего захватить власть («Совет»), а потом уже заняться мирным населением. Население поначалу пряталось при звуках выстрелов по домам, но потом «пошла такая пальба и днём и ночью, что всем надоело обращать внимание. Сперва с ужасом говорили о расстрелах по ночам на молу», но когда начали пускать в расход среди бела дня, а трупы выставлять напоказ, то «все бежали смотреть с радостью». В конце концов и вовсе адаптировались к революционным процессам. Даже появились объявления типа: «Уроки танцев для пролетариата. При школе буфет с напитками».

Из всего увиденного Волошин делает несколько заключений. Во-первых, можно привыкнуть ко всему: даже в самые грозные дни наступает какой-то нервный подъём, помогающий выдержать немыслимое. Во-вторых, порядочный человек остаётся порядочным при всех режимах, а негодяй во всех случаях – негодяем. Истинный буржуй – он и в Смутное время буржуй; он при всяких обстоятельствах будет вести себя «крайне отвратительно, из всего извлекая свою выгоду». Даже среди «матросов-резаков» и анархистов можно было встретить «больше настоящих людей... Не говоря уже о рабочих, которые... несколько раз спасали эту самую буржуазию».

А вот «среди лже-буржуев – интеллигенции, разорённых помещиков, людей, потерявших всё при новом режиме», – немало «глубоко очистившихся, освободившихся, просветлённых». В-третьих, необходимо «всё время быть с большевиками» – не для того, чтобы подстраиваться под их убеждения и обезопасить себя от возможной угрозы, но «для того, чтобы смягчать и ослаблять остроту политических нетерпимостей» – эту точку зрения поэт возведёт в жизненный принцип. Ведь какая могла бы возникнуть «кровавая баня» уже сейчас в Феодосии, если бы не было справа и слева посторонних, казалось бы, людей, которые старались не допускать беспредела. Побольше бы таких в масштабах всей России!.. И последнее: «Большевики вовсе не партия, а особое психологическое состояние всей страны», своеобразная болезнь, которую надо лечить «постоянным общением», разъяснением сути вещей, заступничеством, милосердием.

Тем временем прогнозы поэта относительно германского «нашествия» на Крым сбываются: захватив 18 апреля 1918 года Перекоп, немцы 22-го входят в Симферополь, 28-го – в Алушту, 29-го – в Керчь. 25-го они минуют Коктебель в сопровождении отрядов украинских гайдамаков. 3 мая Волошин делится своими теоретическими построениями по поводу этого факта с Петровой: «...считаю, что для полуострова его занятие немцами в чистом виде (не Украиной и не Австрией) – выгодно. И надо тщательно различать здесь интересы страны (Крыма) от интересов русских и России». Макс есть Макс. Здесь звучат отголоски его ранних высказываний о том, что нестрашно быть под немцами, что Германию можно разложить изнутри.

Впрочем, тему «Петербурга под немцами» Волошин рассматривал в другом ключе. 27 февраля он писал Петровой: «„Петербургу быть пусту“». Помните это пророчество Петровских времён? Сейчас совершается трагедия не России, а Петербурга. Жду с напряжённым вниманием и ужасом момента, когда он будет взят немцами: в этот миг, представляется мне, вдруг и сразу осветится его судьба, та историческая ошибка, которая породила проклятие (Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I, насильно постриженной в монахини. – С. П.), на нём лежащее. Не в том ли она, что он был подменой Царьграда, каким-то временным центром национального сознания, лежащим вне физического тела народа? В его последней агонии, которая кажется на этот раз неотвратимой, это выяснится».

Вспоминает Макс в эти дни и слова Р. Штейнера о том, что Россия «выплавит из себя шестую великую расу, но под опекой Германии». (Пятая раса, которая доминирует ныне, арийская. Штейнер в середине 1900-х годов читал лекцию на тему «Культура пятой арийской расы».)

И всё же возникает стойкое ощущение: в то время как ум Волошина создаёт сверхоригинальные теории (или следует за уже готовыми), его душа, простые человеческие чувства не принимают их. Особенно, когда это касается экспансионистских устремлений по отношению к России. Заканчивает он письмо о возможной «опеке Германии» такими словами: «И вот всё как будто идёт к тому, становится неизбежным и это всё же самое страшное и невольно шепчешь: Да минет чаша сия...»

Эти две ипостаси поэта постоянно взаимодействуют, порой вступают в противоречие друг с другом: интеллектуально-творческая, рождающая парадоксальные умозаключения, и чисто человеческая, душевно-трепетная, непосредственно реагирующая на события, пропускающая их сквозь сердце. Верх берёт то одна, то другая. Эту неоднозначность Волошина хорошо почувствовал И. Эренбург, который писал в воспоминаниях: «Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал её. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лиль-Адана, ни прорицания Казота, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог (здесь необходимо учитывать обстоятельства: когда писалась и печаталась книга Эренбурга – разумеется, ни о каком „правильном“ понимании Волошиным революции автор не мог бы сказать при всём желании. – С. П.), но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьёзность...»

Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть, потому что был он по своей натуре создан не для деятельности, а для созерцания, – такие натуры встречаются. Пока всё кругом было спокойно, Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века – в лето 1914 года и в годы гражданской войны, – Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде».

В письме к А. М. Петровой от 10 мая 1918 года поэт спускается с теоретических построений на грешную землю, однако «прихватывает» с собой и опутавшие его исторические аллюзии: «Вчера я в первый раз с момента оккупации Крыма увидел немецких солдат воочию и говорил с ними (30 апреля немцы заняли Феодосию. – С. П.). Это не произвело такого тяжёлого впечатления, которого я ожидал. Когда я увидел их в бинокль на коктебельском берегу – купающимися, то это было скорее удивление: как будто я воочию увидел римских солдат, вступивших в Митридатово царство. Конкретно ощутился исторический размах германского предприятия. В факте присутствия германцев в Крыму для меня нет ничего оскорбительного, как это, вероятно, было бы, если бы я встретился с ними в Москве». А дальше берёт верх «первая» его ипостась: он вновь начинает воздвигать геополитические, футурологические теории, весьма любопытные и конечно же не беспорные.

«Крым – слишком мало для России и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видал за истекшие полтора века (та же мысль содержится и в стихотворении „Дом Поэта“. – С. П.). Самостоятельным он быть не может, так как при наличии двенадцати с лишним народностей, его населяющих, и притом не гнёздами, а в прослойку, он не в состоянии создать никакого государства.

Ему необходим „завоеватель“. Для Крыма, как для страны, выгодно быть в ближайшую эпоху связанным с Германией непосредственно (а не с Украиной, а не с Австрией). Он попадает в глубокие руки, из которых он выйдет не скоро. Но я смотрю с точки зрения того „Армагеддона“, который разразится в ближайшие годы между Европой и монголами на всём

пространстве европейской России, от которой после этого камня на камне не останется. В этой борьбе Крым будет играть роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта. И я думаю, что германцы начнут тотчас же готовиться к этой войне и укреплять Крым (Крым – Кермен – Кремль – Крепость¹² – в самом имени его записана его роль)».

Первём здесь ход волошинских мыслей и сделаем небольшое отступление. В поэзии и философии Серебряного века было сделано немало попыток осмыслить революционное лихолетье через евразийскую судьбу России. Говоря об историческом пути своей родины, А. Блок в своём цикле «На поле Куликовом» (1908) использует мотив степи в сочетании с «татарской» темой: «... До боли / Нам ясен долгий путь! / Наш путь – стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь...» Продолжением этой темы стали блоковские «Скифы» (1918), написанные за два месяца до цитируемого письма Волошина. Блок отталкивается здесь от идеи Вл. Соловьёва. Усомнившись на закате жизни в исторических перспективах прогресса, философ и поэт грозил погрязшему в грехах Западу и самодовольной России («Третьему Риму») нашествием с Востока «пробудившихся племён», «жёлтых детей». «Движение крайнего монгольского Востока, которое Вл. Соловьёв называет панмонголизмом, – пишет Н. Бердяев, – было для него предвестием судьбины Божьей, указующим на апокалипсические судьбы человечества». Кара, по Соловьёву, грозит всем, «кто мог завет любви забыть». Эта же мысль звучит и в «Скифах». Спасшая от нашествия монголов Европу Россия, предостерегает Блок, «отныне вам не щит», если европейские государства не вложат «старый меч в ножны». А у столкновения «стальных машин, где дышит интеграл, / С монгольской дикою ордою» может быть один исход – не в пользу Западу. Волошин же, говоря о будущем западно-восточном «Армагеддоне», не заостряет внимания на его исходе, он лишь настаивает на том, что «роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта» сыграет Крым, укреплённый Германией.

С другой стороны, по Блоку, Россия – не только «щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы». «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы...» Безусловно, здесь сказалась концепция А. Белого (да и не только его), согласно которой исторические скифы, населявшие припонтские степи, были прямыми потомками первейшего праарийского племени и сохранили в себе такие исконные начала, как огонь, движение, катастрофическое мировосприятие, жизненный максимализм. Поэтому-то Блок пишет в «Дневнике» 11 января 1918 года: «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток».

Волошин иначе понимал евразийскую суть России, скифо-славянскую душу народа, арийскую расу. Однако и он в данном случае не сомневается, что «прольётся Восток». Правда, не «на вас», а скорее «на нас». Поэтому для него важно, чтобы Крым, при отсутствии России как государства, «теперь же был отдан в распоряжение Германии. Вы ведь знаете, что для меня ничего не будет удивительного, если через несколько лет Германия окажется крестоносной защитницей Европы от монголов. Я думаю, что Германия заняла Крым крепко и надолго и что это завоевание для Крыма полезнее русского. Гораздо сложнее вопрос психологический для нас, русских, связанных всеми корнями своей души с Киммерией».

Однако никакие теории не в силах унять тоски по поруганной родине. Она – есть, но что она теперь? «Наша физическая земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной (Св. Русь); но даже изгнанничество, эмиграция невозможны, потому что России вообще теперь нет. И родина духовная – Русь – Славия – не имеет больше государственного, пространственного выражения. Она для нас остаётся ценностью духовной,

¹² Слово «Крым» лингвистически связано скорее не с «кремлём» или «крепостью», а с тюркским «кырым» (ров, вал) или монгольским «хэрэм» (вал). – Авт.

какой в сущности была и раньше».

Но письма – не главное. Важнее – стихи. 24 мая Волошин заканчивает свою книгу «Демоны глухонемые» и отправляет рукопись в Харьков. Ждать её выхода придётся более полугодом. Буквально вдогонку к завершённой сборнику рождаются стихотворения «Родина», «Молитва о городе», «Коктебель», «Карадаг», но эти произведения в книгу не войдут; не будут отражены в ней и картины начавшейся усобицы. А события между тем набирают ход: мятеж чехословацкого корпуса в Сибири, затопление половины Черноморского флота в Новороссийске, восстание левых эсеров в Москве, формирование «Краевого правительства» в Крыму с немецким ставленником генералом Сулькевичем во главе. Однако самым ярким событием весны, безусловно, стал «Ледяной поход» Добровольческой армии под командованием генерала Л. Г. Корнилова, когда белые в ходе почти двухмесячных непрерывных боёв прорывались с Дона на Кубань в надежде получить поддержку кубанского казачества.

Этот поход, начавшийся 9 февраля 1918 года в Ростове и закончившийся 31 марта под Екатеринодаром, «ледяным», строго говоря, был лишь несколько дней – при переходе от аула Шенджий к станице Новодмитровской. Утром было относительно тепло, но к вечеру холодало, дороги леденели, дожди порой переходили в метель; шли то по глубокому снегу, то по непролазной грязи... Что это было? «Старого мира последний сон – / Молодость, доблесть, Вандея, Дон», – написала М. Цветаева в «Лебедином стане». «Сознание своего одиночества на родной земле», – высказался один из участников похода, генерал А. Богаевский. Тщетная попытка противостоять судьбе России, бросившись под колеса истории... Корниловцы не встретили той поддержки населения, на которую рассчитывали. Екатеринодар сдался без боя красным 14 марта. Не доходя до города, Корнилов переформировал армию и готовился «атаковать по всему фронту». Случайный одиночный снаряд, влетевший в помещение штаба, оборвал его жизнь накануне штурма Екатеринодара. Принявший командование армией А. И. Деникин приказал начать скрытое отступление...

Волошин, естественно, не мог знать подробности этой героической акции (или, как писал историк Г. З. Иоффе, «открытой попытки контрреволюции переломить ход событий 1917 г. в свою пользу посредством силы»). Однако 2 июня он получает письмо из Новочеркасска от Сергея Эфрона, участника «Ледяного похода». Это было живое свидетельство произошедшего и одновременно – крик отчаяния: «Нам пришлось около семисот вёрст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия, – читает Волошин. – Спать приходилось по 3–4 часа, не раздевались мы три месяца, шли в большевистском кольце, под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боёв... от ядра корниловской армии почти ничего не осталось...»

Перед ним возникло лицо Сергея, до боли знакомое, красивое, только осунувшееся, с огромными впавшими глазами. Казалось, он слышит его голос:

– Что делать, Макс? Ты всегда говорил правду, ты – мудрый, ответь! Куда идти? Неужели все жертвы – даром?!

– Бороться с оружием в руках – не твоё дело, – мысленно отвечает Волошин. – Да и за что бороться теперь?.. Физически мы разбиты и отданы на милость победителю... Дальше – оспаривание клочков нашей плоти между бывшими врагами и бывшими союзниками. Не знаю, поймёшь ли ты это сейчас, Серёжа, но потом, когда немного утихнет боль, поймёшь: нам остаётся одно – национальное самосознание в духе... Единственное оружие России теперь – это дух и внутреннее просветление. Наша душа, Сергей, как древний Китеж во времена Батгя, ушла под воды озера, назови его Светлояр или как-то по-другому, поэтому и благовест её не слышен...

Как жаль, что эти события, эти мысли так и не вошли в книгу. А хотелось бы написать стихотворения историко-философского плана – «Дикое поле», «Китеж»... Пока же он сделал упор на темы, отражающие «революционные отсветы разных веков и широт». И персонажи подобраны соответствующие – Стенька Разин, Лжедмитрий, Аввакум... И эпохи, и события более чем актуальны: Смутное время, Раскол, Французская революция, «предвестия»

российской катастрофы, революционная Москва, Петроградская бесовщина, Брестский мир... И всё это – сквозь призму тютчевского стихотворения, образ из которого вынесен в заглавие книги.

Ф. И. Тютчев:

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять всё потемнело.
Всё стихло в чуткой темноте –
Как бы таинственное дело
Решалось там – на высоте.

(1865)

М. А. Волошин:

Они проходят по земле,
Слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.

Собою бездны озаряя.
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.

Сквозь дымный сумрак преисподней
Они кидают вещий луч...
Их судьбы – это лик Господний,
Во мраке явленный из туч.

«Смысл „Демонов глухонемых“ Вы поняли вполне, – писал Волошин Петровой 19 января. – Тут не только русские бесы, но демоны истории, перекликающиеся поверх формальной ткани событий». В числе русских демонов истории поэт выделяет прежде всего «Дмитрия-императора». Это некий демонический синтез, совокупное единство, «распылённое... между тысячами бесов».

...Тут тогда меня уж стало много:
Я пошёл из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы.

Именно поэтому он – «мёртвый, неизбывный»...

В Стеньке Разине, по мнению Волошина, «больше бесовщины, чем демонизма. Он – легион, несмотря на свою индивидуальность». Он, как и Ермак, реальное историческое лицо, растворившееся в массах, «народный эпос в действии». Поэт использует в стихотворении старинное волжское предание, согласно которому Разин не погиб, а, подобно Фридриху Барбароссе, заключён в недра горы на берегу Каспия и ждёт условного знака, чтобы выйти «судить русскую землю». По легенде, его иногда встречают на берегу «великого моря Хвалынского» (Каспийского), и он начинает расспрашивать о нынешних порядках на Руси: передают ли его ещё анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечи вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолётки и самоплавки»? «Эти вопросы, столь напоминающие совершившееся здесь, – пишет Волошин, – и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землёй тёмными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму „Стенькин суд“».

Об авторской оценке Аввакума уже говорилось. Актуализируя эту фигуру, поэт в качестве эпитафии одного из разделов выбирает его слова: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической».

Комментируя в письме от 30 декабря 1917 года название книги «Демоны глухонемые», Волошин пояснял, что Демон – «не непременно бес – это среднее между Богом и человеком: в этом смысле ангелы – демоны и олимпийские боги – тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той, и в другой форме глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как Вы видите по эпитафии из Исаяи. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух...». Демон, согласно волошинскому пониманию, не обязательно заключает в себе нечто зловещее. В любом случае он (или оно, явление) – лишь проводник высших сил, высшей воли, проявляющейся в своей земной форме. Как и в греческой мифологии, это «мгновенно возникающая и мгновенно уходящая... роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить ни в какое общение...» (Мифы народов мира. Т. 1.).

«Формальная ткань событий» революции и Гражданской войны начинает вплетаться в его новые стихи, которые ходили по рукам и «списывались тайно и украдкой». Поэт объединит их в так и не опубликованную при его жизни книгу «Неопалимая Купина».

Волошин принимает участие в оформлении готовящегося к изданию сборника («Демоны глухонемые»): делает заставки и надписи. Работа над графикой и штриховой техникой, как всё новое, его чрезвычайно увлекает. Занимается Макс в это время и живописью: пишет серьёзные философские вещи, а также – «акварельки для продажи». В целом его образ жизни в это невесёлое время мало изменился: чтение лекций, участие в концертах, выступление со стихами, организация вечеров в пользу безработных Учительского союза (Феодосия), детского туберкулёзного санатория (Алупка)...

Не пустует и кокетельский дом. Постоянно живут там с семьями Николай и Константин Кедровы, неизменные партнёры Макса по концертной деятельности. Николай – певец, профессор Петроградской консерватории; Константин – певец и декламатор. Гостит харьковский издатель книги Волошина П. Б. Краснов, бывает художник А. К. Шервашидзе, навещается критик, драматург и режиссёр Н. Н. Евреинов. Именно тогда впервые в доме поэта появляется бактериолог и поэтесса Татьяна Давидовна Цемах, Татида, с которой у Макса устанавливаются очень тёплые, если не сказать, «горячие» отношения. Чувство, судя по всему, было взаимным, но что-то и на этот раз помешало ему оформиться. Волошин посвятит Татиде стихотворение «Плаванье» (1919), а её портрет, точнее, «надпись к портрету» набросает в следующих словах:

Безумной, маленькой и смелой
В ваш мир с Луны упала я.
Чтоб мчаться кошкой угорелой

По коридорам бытия.

Не правда ли – очень мило, образно, интимно и... чувством юмора природа не обидела их обоих...

Летом 1918 года в «анархической республике поэтов и художников» побывал начинающий журналист и театральный критик Илья Березарк. Из Феодосии до Коктебеля он добирался на бричке, запряжённой ослами, поскольку лошадей немцы реквизируют, в ослах, видимо, нужды не испытывали. Судя по его воспоминаниям, жизнь в «обормотнике» даже тогда текла в прежнем русле: «Всякие попытки следовать приличиям воспринимались как оскорбление коктебельских нравов, как покушение на коктебельские свободы».

Где-то в Симферополе сидело-заседало правительство во главе с литовским татаринцем Сулейманом Сулькевичем, но «на местах крымских властей что-то видно не было. А немцев крымская деревня, расположенная тогда вдали от проезжих дорог, мало интересовала... Был только деревенский староста, который по всем вопросам приходил советоваться с Максом». Илья отмечает необычайную популярность Макса среди местных крестьян. Снискал он её не тем, что был поэт и художник, а своими практическими знаниями и мудростью. Волошин действительно прекрасно знал свой край («каждый ручеёк, каждое деревцо»), разбирался в сельском хозяйстве, давал ценные советы.

«В частности, – пишет И. Березарк, – он научил коктебельских крестьян делать маленькие ручные домашние мельницы (якобы по античному образцу). Такие домашние мельницы были во всех крестьянских дворах Коктебеля и, кажется, в соседних селениях. Здесь в это время царил натуральное хозяйство. Был, правда, в деревне небольшой рынок, но там больше не продавали, а меняли». Волошина это вполне устраивало. Он то и дело повторял свою излюбленную фразу: «Деньги нам не нужны», и, судя по всему, в этом была его убеждённость, а не эпитафия. Правда, за поэтические концерты и выставки в «Бубнах» всё-таки взимались «самые прозаические деньги».

Дом Поэта уже тогда представлял собой небольшой музей. «В нём чувствовался поэтический вкус хозяина. В доме хранилось много больших камней интересной формы, стояли диковинные деревья в кадках, интересно подобранные цветы и листья; рядом с ними – скульптуры и картины начала нынешнего века, близкие к декадентству и формализму». Мать поэта «держала себя по тому времени непривычно. Она постоянно курила, носила широкие шаровары. Теперь этим никого не удивишь, но тогда привлекало внимание. Она была настоящим художником в области вышивания и аппликации. Некоторые её вышивки, ещё до войны, удостоились наград на парижских выставках. Особенно славились её тубетейки, которые она охотно дарила».

Разумеется, автор воспоминаний не мог не заметить «родства» поэта с Киммерией «Кстати сказать, особенно удачно звучали его стихи здесь, на пляже, под аккомпанемент волн. Когда потом я увидел его в Харькове в обычном костюме, мне показалось, что он поблёл, потерял свою внешнюю поэтическую привлекательность». Как многие мемуаристы, он отмечает, что Волошин был человеком «огромных знаний, впоследствии по его указаниям производились не только археологические раскопки, но и горные разработки». Правда, по мнению будущего журналиста, Макс не слишком хорошо разбирался в людях. В его доме обретался некий врач, напоминающий «первобытного человека в шкуре с палицей», явный шарлатан. Здесь же маячил другой тип, выдававший себя за внебрачного сына Николая Второго. Проницательный Евреинов сразу определил, что это просто жулик, намеревающийся обокрасть дом. Но Макс охотно принимал за чистую монету любую легенду.

Разумеется, среди гостей дома в основном были люди творческие.

В сентябре прибыл подышать морским воздухом молодой поэт Георгий Шенгели. Зачарованный атмосферой, царящей в Коктебеле, он окрестил это место «Киммерийскими Афинами». Да и сами «коктебельские излоги и лукоморья – героическая поэма. Тысячелетнее бремя космических сил вылилось наружу, оцепенело в напряжённом

равновесье. И припасть к развёрстым недрам трагической земли так же отрадно, как омыться гекзаметрами Гомера и сгореть вместе с градом копьеносца Приама», то есть Трои. Впрочем, «пустынные гекзаметры волны» воспел в своих стихах и Волошин, которого Шенгели возвёл в ранг «архонта» (высшая и самая почётная должность) этой новоявленной «республики», со «своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой, покоящейся на „естественном праве“, со своими патрициями – художниками и плебеями – „нормальными дачниками“».

Вспоминал Г. Шенгели и свою первую встречу с хозяином: «С уютной софы... подымается невысокий грузный человек. Тёмно-рыжие поседелые волосы, сдержанные ремешком, синий античный хитон, сандалии. Внимательные серые глаза. Из-под подрезанных усов – нежный женский рот: Волошин». Уже в 1936 году гость посвятит ему стихотворение, так и названное – «Максимилиан Волошин»:

Огромный лоб и рыжий взрыв кудрей,
И чистое, как у слона, дыханье...
Потом – спокойный, серый-серый взор.
И маленькая, как модель, рука...
«Ну, здравствуйте, пойдёмте в мастерскую» –
И лестница страдальчески скрипит
Под быстрым взбегом опытного горца,
И на ветру хитон холщовый хлещет,
И, целиком заняв дверную раму,
Он оборачивается и ждёт...

Однако вернемся к нашему повествованию. «Начинается беседа. Внимательно выслушивая партнёра, принимая все его положения, Волошин незначительными поправками доводит его до согласия с собой. И тогда – изумительный гейзер знаний, своеобразнейшие сопоставления и сближения; вырастает стройная система воззрений на мир, на человека, на искусство. Потом становится парадоксальной. И вы теряете отчётливое представление: серьёзно ли говорят с вами? Из-под непроницаемой брони логики сквозит всё время лёгкая усмешка».

Сколько людей, знавших Волошина, столько мнений относительно его манеры чтения. Шенгели отмечает, что поэт читал стихи «превосходно». Причём чужие – лучше, чем свои. При этом – пламенный восторг по их поводу. И – непрменный рассказ о самих поэтах, в шутку и всерьёз.

– Присылает мне Илья Эренбург книгу стихов. Книга неправильно сброшюрована: обложка вверх ногами. Я сначала вознегодовал, сочтя это намеренным. Потом понял. Приходит ко мне сестра поэта, желая поговорить о присланной книге. Я беру книгу и читаю. Она потом пишет брату: «Какой оригинал этот Волошин! Представь: держал твою книгу вверх ногами и читал. Даже неприятно».

Неизменными атрибутами жизни «Киммерийских Афин», как следует из воспоминаний Шенгели, оставались всевозможные спектакли и розыгрыши. Реальность постоянно раздваивалась, подвергалась ироническому переосмыслению, переворачивалась с ног на голову; неожиданно выходило, что «длиннобородый молчаливый господин оказывается Папюсом, юноша с высоким лбом и чёрной гривой – секретарём президента Андоррской республики, причём вас тихонько предупреждают, что он страдает клептоманией», тут же разыгрывались любовные страсти, сцены ревности, попытки утопиться – уже знакомые нам компоненты, заимствованные из трагифарса или комедии положений.

Волошин большую часть времени посвящал акварелям, «пишучи их по пяти, по шести в день. Живопись его, которую отец П. Флоренский метко назвал мета-геологией, вся посвящена раскрытию сущности коктебельской природы и в чёткой графике своей, в бархатном разливе красок воспроизводит напряжённость карадагских складок, зной и сухость степных балок, ультрамариновые тени ущелий, воспалённые полдни и веера

закатных облаков». Поэт Волошин, по мнению Шенгели, не «светлый лирик», а «кузнец упорных слов», он – «вкус, запах, цвет и меру выплавляет их скрытой сущности». Это поэт-пластик, а не «музыкант», но при этом – мастер ритма. «Своеобразный и богатый, он в каждой строке переливается по-иному, в точности соответствуя всем изгибам логического рельефа». Волошинский верлибр «приближается к пушкинскому, далеко оставляя за собой почти все попытки современных стихотворцев, и опыты введения в русский стих античных размеров стоят выше фетовских... Таким образом, формальное совершенство стихов Волошина – непререкаемо». Автор воспоминаний, сам поэт и переводчик, видит в Волошине большого труженика, «чеканщика монет», «гранильщика камней». Над одним стихотворением Макс мог работать несколько лет. «Не потому ли так равны книги Волошина, так выдержан лирический уровень его стихов? Какой урок стихотворцам, эшелонами отправляющим стихи в типографию»...

Ни для кого не секрет, что «известность поэта и весомость поэзии далеко не всегда находятся в прямом отношении». К Волошину это имеет прямое касательство. Ведь он живёт вдали от литературных рынков (правда, в Москве и Питере бывает по своим издательским делам весьма часто, что не учитывает автор эссе) и потому не слишком часто печатается; к тому же «стихи его слишком насыщены культурой, обращающей повышенные требования к читателю», поэтому «мало известен широкой публике... Но в литературных кругах имя Волошина пользуется высокой репутацией».

Так или иначе, но к началу усобицы Макс Волошин завоёвывает популярность. Он – автор трёх поэтических книг, на выходе – четвёртая, которая, по оценке издателя Краснова, заключает «в себе потрясающую силу». Ни одна из них не была проходной, легковесной; каждая удостоивалась повышенного внимания критики. Кого-то поэт поражал, кого-то приводил в восторг, у кого-то вызывал шок, кого-то заставлял задуматься... В чём же, если не в этом, предназначение художника?.. «Если критики спорят между собой, значит, художник – в согласии с собой», – утверждал О. Уайльд, с которым А. Белый соотносил М. Волошина. Правда, задачу свою, возможно – главную, ему ещё предстояло реализовать...

А пока Волошин задумывается о новом лекционном турне, на этот раз – по городам юга, хотя идёт война. Но ведь именно сейчас воодушевляющее слово, напоминание о вечных истинах, особенно значимо. Репертуар можно оставить тот же (лекции о Верхарне, Сурикове, а также «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве»), добавив к обкатанным темам новую, обобщающую последние события мировой истории: «Скрытый смысл войны». Конечно, хорошо бы подобрать материал о нынешнем положении в России, но здесь всё ещё в состоянии бурного брожения, и до конца непонятно, какой жребий вынет «горькая детоубийца-Русь»... Макс с интересом следит за развитием современной поэзии, ведь кто-то уже откликнулся на злобу дня, причём не просто выплеснул эмоции, а вывел свои наблюдения на историко-философский уровень. Прежде всего это А. Блок со своими программными произведениями «Двенадцать» и «Скифы», первое из которых уже подверглось обструкции в интеллигентско-поэтической среде... Вышла книга стихов И. Эренбурга «Молитва о России», в которой Макс почувствовал «такой же пророчески-библейский подход к текущей современности», как у французского поэта, историка Агриппы д'Обинье – к событиям Варфоломеевской ночи, свидетелем которых он был. Здесь уже можно что-то обобщить, и по заказу П. Б. Краснова Волошин посылает в издательство «Ка-мена» статью «Поэзия и революция», в которой утверждает: «В эпохи катастрофические поэт может быть унесён какой угодно струёй внезапного водопада, сражаться в рядах какой угодно партии» как человек; но как поэт «он станет голосом всей катастрофы, и его творчество будет всегда стоять по ту сторону партийной слепоты» – мысль, к которой художник будет возвращаться постоянно.

Ну а в Европе произошло долгожданное событие. 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне-салоне французского маршала Фердинанда Фоша, стоящем на «запасном пути» в Компьенском лесу, в семидесяти километрах от Парижа, был подписан Компьенский мир между Германией и главными странами Антанты – Англией, Францией и

США. Первая мировая война, длившаяся четыре года три месяца и десять дней завершилась поражением Германии и её союзников. Некогда могучая немецкая армия попросту разложилась, и, надо сказать – не без влияния славянства, распространявшегося с Восточного фронта. Война бросила в свой адский котёл 38 стран и обошлась человечеству почти в 360 миллиардов долларов золотом. Погибло и умерло от ран 9,5 миллиона солдат и офицеров, в их числе – 1,89 миллиона русских. А сколько миллионов было ранено, контужено и осталось калеками... Какими логическими построениями можно оправдать этот страшный мировой абсурд?.. Повторится ли что-то подобное в будущем?.. С этими вопросами можно обращаться только к Всевышнему:

Так дай же силу
Поверить в мудрость
Проливой крови;
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Всемирных всходов!

(«Не ты ли...», 1915)

Война закончилась. В Крыму сменилось правительство: на место ставленника Германии Сулькевича был посажен ставленник Антанты, член Первой Государственной думы, караим по национальности, Соломон Крым. Наступило кратковременное политическое затишье. Волошин отправляется в полугодовое турне...

Эта длительная «командировка» подтвердила едва ли не повсеместное признание Волошина как большого поэта, а также раскрыла перед ним трагическую панораму Гражданской войны, «внутри» которой он оказался. Одна из женщин (названная в воспоминаниях о Волошине «Неизвестной»), ухаживавших за больными, вспоминает, что даже в пределах ялтинского санатория «приходилось наблюдать самые тяжёлые сцены: то стражники подстрелили женщину, собиравшую валежник в казённом парке, то в овраге, под окнами санатория, расстреляли человека, якобы большевистского комиссара. По набережной Ялты разгуливали представители Добровольческой армии с золотыми погонами и галунами. Не успевших отдать им честь – арестовывали. Пышно разодетые дамы сияли нацепленными на себя драгоценностями, всякой мишурой, которую им удалось захватить из имений, покинутых ими. По вечерам было опасно ходить. Из переполненных ресторанов неслась дикая музыка и дикие крики пьяных. По глухим окраинам то и дело слышались выстрелы. Настроение было унылое и беспросветное».

Однако в той же Ялте Макс обнаруживает столпотворение творческой интеллигенции; было здесь и немало беженцев из Москвы и Петрограда. Работала выставка «Искусство в Крыму», организованная в ноябре С. Маковским. Среди её участников оказались такие крупные фигуры, как И. Билибин, С. Сорин, С. Судейкин; выставлялись работы Н. Альтмана, И. Репина, А. Голубкиной. Принадлежность к конкретным школам и течениям на этот раз не учитывалась. Выставил свои произведения и М. Волошин.

Лекции поэта начались здесь же, в помещении выставки, 15 ноября. В своих выступлениях Волошин расширял историко-эстетическую тематику за счёт недавно написанных стихов. Звучали «Святая Русь», «Дмитрий-император», «Стенькин суд»... 16 ноября поэт выступил в помещении женской гимназии с лекцией о Верхарне. Обратимся вновь к свидетельствам «Неизвестной»: «К назначенному часу зала была переполнена молодёжью. Из санатория приплелись больные, ради Волошина нарушившие строгий режим. В тёмном уголке зала, поближе к выходу, мелькали лица знакомых коммунистов-подпольщиков, ради заманчивой лекции рискующих жизнью».

М. Волошин прибыл с нерусской аккуратностью, точно к назначенному часу, и, легко неся полное подвижное тело, быстро пробежал сквозь толпу к эстраде. При первом взгляде на него мы почувствовали разочарование: сильная полнота и окладистая борода делали его похожим на купца. Но как только раздался его голос, певучий и мягкий, – так сердца юных слушателей были покорены». Многие тогда ощутили внутреннее родство Волошина с Верхарном, «чувствовалось, что оба они люди огромного размаха, сверхчеловеческой силы, оба певцы космических взрывов. Волошин называл Верхарна современным человеком со средневековой душой, мистической и буйной. Певец восстаний, он проклял власть машин и золота. И он же воспевае тихую любовь, стихийную и мудрую, нежную, как былинка вереска, любовь, внушённую тишиной мирных долин, воспевае милый край, где „издалека резная колокольня глядит на вас старинными часами“. В то же время Верхарн пророчески предсказывает, что закоснелость мирной жизни приведёт к предельным ужасам Апокалипсиса и родит ненависть».

Слушателям запомнилось стихотворение Верхарна «Толпа» в художественной интерпретации Волошина. Многим из сидящих в зале были близки воплощённый здесь пафос революции, мысль о неизбежности мига, когда «разум меркнет, сердце рвётся к славе или преступлению», когда приходит «час дерзаний и жестов огненных», когда «взлетаешь вдруг к вершинам новой веры». От Верхарна лектор плавно перешёл к собственным стихам. «Несмотря на лёгкий налёт мистицизма, они к тому времени были потрясающе, недопустимо революционны, и мы всё время боялись, что Волошина арестуют белые». Отнесём эту оценку к субъективным эмоциям молодой женщины. Обратим внимание на другое. Когда поэт произнёс сакраментальную строку: «Я ль в тебя посмею бросить камень...», его душевный трепет передался слушателям – многие плакали. Аудитория была наэлектризована. Такого эмоционального восприятия, такого успеха Макс ещё не знал. По словам всё той же свидетельницы, в зале «хлопали, кричали, стучали ногами, бросались к поэту на эстраду, качали его, забрасывали цветами»...

24 ноября Волошин берёт курс на Севастополь – по морю; оттуда, уже поездом, отправляется в Симферополь. Пароход был набит добровольцами, так что всю дорогу пришлось стоять. Нельзя было сменить позу и в поезде; все восемь часов пути до Симферополя в товарном вагоне были заполнены ядрёными солдатскими анекдотами, революционно-пролетарским фольклором. Верный самому себе, Макс не противопоставляет своих столь разных по мировоззрению и политической ориентации попутчиков. Он отмечает «очень милое дружеское отношение друг к другу» и вообще «скорее приятное» впечатление от людей. Симферополь оказался забит «министрами, профессорами и громилами». Последние были для Макса уже не в диковинку. Впрочем, на волошинские выступления они не являлись. Сам лектор остался доволен: заработал 800 рублей, да и «моральный успех был большой».

Через месяц поэт снова в Севастополе. На этот раз он решает здесь задержаться. Да и как не задержаться?.. На рейде важно стоят корабли союзников, со дна бухты поднимают дредноут «Императрица Мария» (причём Волошин спускается внутрь, в подводную часть судна), по улицам вальяжно разгуливают английские и французские моряки, в Институте физических методов лечения проходит, несмотря ни на что, съезд Таврической научной ассоциации. Макс поселяется в помещении гимназии, в кабинете врача – «в одной комнате со скелетом». Ему одинаково интересно бывать и в «разобранных железных внутренностях морского чудовища», и в аудиториях института, где он встречает много знакомых профессоров из самых разных областей науки – геологии, ботаники, энтомологии, невропатологии, астрономии, археологии и т. д. Среди его хороших знакомых – учёные мужи, инженеры, артисты, а также «политические деятели революции и контрреволюции», в том числе экзотический Фёдор Баткин (упоминаемый в стихотворении «Матрос»), который в 1917 году под видом матроса Черноморского флота вёл агитацию за продолжение войны до «победного конца».

Крымскому успеху Волошина как поэта и лектора способствовала публикация поэмы

«Протопоп Аввакум». Несмотря на историческую отдалённость сюжета, условность повествования от первого лица, сложность стиля, наличие «безрифменного, свободногнувшегося размера» (по определению самого автора), поэма приобретает необыкновенную популярность. В Таврическом университете она обсуждается на студенческих семинарах, журнал с её текстом (Родная земля. Киев, 1918, № 1) выписывается для школьных библиотек Симферополя. Даже такой взыскательный ценитель поэзии, как И. А. Бунин, относящийся к Максиму весьма настороженно, как и вообще ко всем «декадентам», отметит после авторского чтения «Аввакума» в апреле 1919 года: «Справился с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна».

Однако житийная стилистика поэмы не могла скрыть её пафос, обращённый в современность:

...Аз есмь огонь, одетый пеплом плоти,
И тело наше без души есть кал и прах.
В небесном царствии всем золота довольно.
Нам же, во хлябь изверженным
И тлеющим во прахе, подобает
Страдати неослабно.
Что будет плаванье?
По мале времени, по виденному, беды
Восстали адовы, и скорби, и болезни.

Вера в человеческий дух, возносящийся над исторической бездной, – вот что стремился передать читателям поэт:

...Время
Приспе страдания.
Крепитесь в вере.
Возможно Антихристу и избранных прельстити...

А на вопрос, «что будет плаванье» и кто в нём будет кормчим, Волошин ответил статьёй «Вся власть патриарху», которая была опубликована 22 декабря 1918 года в газете «Таврический голос». На первый взгляд, считает поэт, власть должна быть сосредоточена в руках Добровольческой армии. Но она – только орудие, «великая политическая молчальница». Перед властью стоит трудная задача, и неизвестно, как она с ней справится. «Но в то же время положительное разрешение её глубоко необходимо, потому что сейчас все русские политические партии, последовательно берясь одна за другой за политическое водительство России, скомпрометировали себя окончательно и безнадежно... Каждая – за исключением большевиков, но их цели и побуждения были иные... Русские партии за время революции ничему не научились и ничего не поняли». Так что же – военная диктатура? «Но Наполеона у нас не предвидится», а любой ординарный, доморощенный генерал, при реальной власти союзников, станет «подставным лицом без инициативы».

Обращаясь к прошлым векам русской истории, к Смутному времени, мы не можем не увидеть в ней параллелей с нынешним днём. «Мы проходим сквозь все разрушительные стихии русской истории – разиновщину, пугачёвщину, к которым мы сами присоединили, как новый знак, „азефовщину“. А в ближайшем будущем нам предстоит пройти сквозь „самозванщину“, которой будет отдан 1919 год (лже-Николай) и период после 1922 года (совершеннолетие всех лже-Алексеев). И снова для нас должна повториться эпоха московского собирания русских земель... Сила, объединившая русскую землю вокруг Москвы, была не только в московском скопидомстве „Золотого мешка“ – Калиты, но и в морально-духовной силе, которая шла от святого Сергия Радонежского, из Троицкой лавры, из деятельности московских митрополитов и патриархов.

Не случайно русская церковь в тот самый момент, когда довершался разгром русского государства, была возглавлена патриархом (патриархат в Русской православной церкви был установлен в 1589 году¹³. – С. П.). Не случайно большинство Собора, бывшее против патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинувшись скрытому гению русской истории». Таким образом, патриарх в настоящее время – «естественный глава России. Ему надлежит направлять действие Добровольческой армии, ему дано право созыва Земского собора...». Ибо именно патриарх «всегда принимал на себя временный распорядок светскими делами в эпохи смут и междуцарствий».

Разумеется, статья Волошина вызвала самые разнообразные отзывы и реакции. Однако, несомненно, это был продуманный подход к сложившейся в стране ситуации, хотя и, учитывая объективные обстоятельства, мало реальный. Впрочем, «Гаврический голос» был услышан, и на Епархиальном съезде в Ялте статья Волошина активно обсуждалась. Но вернёмся к лекционному турне...

20 января Волошин направляется в Одессу, где ему суждено будет провести три с половиной месяца, наполненные встречами и выступлениями, работой и иллюзиями. Макс встретился здесь со своими старыми знакомыми Цетлиными, которые, собственно говоря, и были главными инициаторами его поездки. В их квартире на Нежинской улице художник обрёл временное пристанище, вместе с двумя видными представителями партии эсеров, А. Р. Гоцем и В. В. Рудневым. Но, как мы знаем, для поэта партийная принадлежность не имела значения. Весёлая, легкомысленная Одесса переживала те же трудности, что и любой российский город: сложно было с продуктами, случались перебои с электричеством, ощущалась нехватка топлива, распространялся сыпной тиф. На улицах попадались не слишком активные военные патрули, представляющие разные народы Европы; больше активничали весьма обнаглевшие бандиты, представляющие «сборную» России, опирающуюся на традиционную одесскую «основу».

При этом не затихала культурная жизнь. Выходили юмористические журналы; проходили концерты Изы Кремер и Надежды Плевицкой; пели Александр Вертинский и Леонид Утёсов; в цирке Труцци выступал Иван Поддубный. А уж какую колоритную компанию представляли поэты, входившие в кружок «Зелёная лампа»... Здесь и Эдуард Багрицкий, и Аделина Адалис, и Леонид Гроссман, и Вера Инбер, и Валентин Катаев, и Юрий Олеша... Не менее солидно были представлены и писатели-гости: Дон-Аминадо и Тэффи, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская; о прежнем времени напоминали собой Иван Бунин и Влас Дорошевич. В своих воспоминаниях Бунин весьма выразительно описывает околотературный быт Одессы того периода и на его фоне – облик Максимилиана Волошина.

Иван Алексеевич Бунин знал Волошина и раньше, встречался с ним в Москве, когда Макс был уже заметным сотрудником «Весов» и «Золотого руна». Практически все, кому доводилось общаться с Волошиным, прежде всего обращали внимание на его неординарную внешность. Не стал исключением и Иван Алексеевич: «Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, тёмно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и „очаровательное“, хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как

¹³ Просуществовал до 1703 г. После Февраля 1917 г. и уничтожения монархии на Поместном соборе Русской православной церкви (15 августа 1917 г.) было принято решение о его восстановлении. Патриархат был восстановлен 5 ноября 1917 г., патриархом избран Тихон (Василий Иванович Беллавин, 1865–1925), ныне канонизированный Русской православной церковью. – Ред.

почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи... делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику – и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...»

О качестве читаемых Волошиным стихов Бунин почти не говорит, упоминает лишь стихотворения «В вагоне» – характерное для волошинского периода «влечения к словам», «Ангел Мщеня» – в связи с тем, что тогда, в середине первого десятилетия XX века, «чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами», да «стихотворение из времён французской революции», где в качестве «ударно-эстрадных слов» ему представляются такие: «Это гибкое, страстное тело / Растоптала ногами толпа мне» (то, что оно посвящено не телу, а голове мадам де Ламбаль, автору воспоминаний не запомнилось). Сблизившись с поэтом в Одессе, Иван Алексеевич был немало удивлён. «Помню его первые стихи, – судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьётся внешне и внутренне». Впрочем, о том, что собой представлял «доодесский» поэт Волошин, будущий нобелевский лауреат имел весьма поверхностное представление. Внешняя эксцентричность в очередной раз заслонила внутреннюю суть.

В Одессе, как вспоминает Бунин, Макс «тотчас же проявил свою обычную деятельность». Он выступил с чтением стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все «новые одесситы», то есть бежавшие из столиц писатели, читали за небольшую плату свои произведения среди пивших и евших перед ними «недорезанных буржуев». Читал Волошин то, с чем он выступал в последнее время, – «о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской». Бунин дивится и восхищается: «...так далеко шагнул он вперёд и в писании стихов, и в чтении их, так силён и ловок стал и в том и в другом». Бунин злится: «...слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, „великолепное“, самоупоённое и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение!» Бунин иронизирует: «Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно. Кряжистый мужик русских крепостных времён? Приап? Кашалот?..» Но вот происходит встреча в гостиной у Цетлиных, и «кряжистый мужик» вновь оказывается «милейшим и добрейшим Максимилианом Александровичем». Бунин обращает внимание на то, как изменился с годами облик поэта: он стал старше, тяжелее, но сохранился стиль поведения – молодость движений, общительность, а главное, «благорасположение ко всему и ко всем, удовольствие от всех и от всего... даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков».

Как обычно, Макс бывает везде, читает (Бунин прав) «всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве». Он выступает в Клубе вечных воинов, на благотворительном балу в зале Литературно-артистического общества, участвует в диспуте «Женщина перед судом женщины» в Ясском театре, присутствует на заседании кружка «Зелёная лампа» в помещении Камерного театра, читает лекции в Литературно-артистическом и Религиозно-философском обществах, подвизается в «Устной газете», организованной Союзом журналистов. Похоже, что лекции и стихи Волошина начинают завоёвывать Одессу, но особенно – стихи. «В этих поэмах о самозванствах, бунтах, смутах, исторических судорогах и национальных перерождениях слышится глубокая скорбь и молитва о России», – тонко подмечает один из рецензентов в «Одесском листке». Другой в

«Южной мысли» называет Волошина «крупнейшим нынешним поэтом». И здесь не чувствуется преувеличения. Из поэтов, чьи имена были тогда на слуху, чаще других упоминались Блок с его «последними поэмами» и активно заявляющий о себе Макс Волошин.

Впрочем, язвительно-ироническое отношение к Максиму как поэту и человеку сохранялось. Показательны в данном случае воспоминания Надежды Александровны Тэффи, знаменитой в то время писательницы сатирического склада: к весне 1919 года в Одессе появился поэт Макс Волошин. «Он был в ту пору одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям и нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему... Стихи густые, могучие, о России, о самозванце, с историческим разбегом, с пророческим уклоном. Девушки-дактилы окружали его восторженной толпой, слушали, ахали, и от блаженного ужаса у них пищало в носиках. Потом трещали машинки – Макс Волошин диктовал свои поэмы. Выглядывало из-за двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметом и вводило Максима к себе...

Зашёл он и ко мне. Прочёл две поэмы и сказал, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву, которую арестовали... по чьему-то оговору и могут расстрелять...

– А я пойду к митрополиту, не теряя времени. Кузьмина-Караваева окончила духовную академию. Митрополит за неё заступится.

Позвонила Гришину-Алмазову (губернатор Одессы. – С. П.)... Кузьмину-Караваеву освободили.

Впоследствии встречала я ещё на многих этапах нашего странствия – в Новороссийске, в Екатеринодаре, в Ростове-на-Дону – круглый берет на крутых кудрях, разлетайку, гетры и слышала стихи... И везде он гудел во спасение кого-нибудь».

Вполне завершённая новелла, в духе Тэффи, однако речь сейчас не о художественных достоинствах писательницы, а о том, что стоит за её рассказом.

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, поэтесса и публицист, известная во Франции времён Второй мировой войны как мать Мария, в юности увлекалась неонародничеством, вступила в партию эсеров, в феврале 1918 года была избрана городской головой Анапы. Не разделяя большевистской идеологии, она всё же согласилась стать комиссаром по здравоохранению и народному образованию, надеясь защитить население от неизбежных перегибов. В мае 1918-го Кузьмина-Караваева участвовала в работе 8-го съезда партии правых эсеров в Москве, затем способствовала организации белого Восточного фронта. По возвращении в Анапу была арестована деникинской контрразведкой и предана военноокружному (или краевому) суду за «комиссарство». Волошин хорошо знал Елизавету Юрьевну ещё по Петербургу. Он был убеждён, что эта женщина, кстати, первой окончившая Духовную академию, «не имела ничего общего с большевизмом». Поэт составил письмо в редакцию «Одесского листка», которое, помимо него, подписали А. Толстой, В. Инбер, Л. Гроссман, Н. Крандиевская, Н. Тэффи, Амари и некоторые другие писатели. В письме говорилось: «Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка (то есть белая власть Юга. – С. П.) способна решиться на истребление русских духовных ценностей, особенно такого веса и подлинности, как Кузьмина-Караваева». Поэтессу всё же обвинили в «занятии ответственной должности в составе советской власти», но, приняв во внимание «смягчающие обстоятельства», осудили всего на две недели ареста «при тюрьме». Защита Кузьминой-Караваевой стала первым, но далеко не последним «процессом», в котором поэт выступал как сам себя назначивший «адвокат» Разума и Милосердия.

Быть адвокатом гуманности или арбитром в игре социальных стихий... Это становилось особенно актуально теперь, когда «древняя, тёмная, историческая жизнь России, так долго скрывавшаяся под спудом империи, сразу выступила из берегов, как только

большевицкая пропаганда... обратилась с призывом к жадным, мрачным и разбойничьим сторонам русской души», когда «из народных глубин поднялись страшные призраки XVI и XVII веков», на что художник неоднократно указывает в своих статьях, стихах и поэмах; именно сейчас большевизм «оказался неожиданной и глубокой правдой о России». Примерно о том же напишет в «Окаянных днях» и Бунин: «...А всё-таки дело заключается больше всего в „воровском шатании“, столь излюбленном Русью с незапамятных времён, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращённых людей... Ключевский отмечает чрезвычайную „повторяемость“ русской истории... Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда попадает из огня да в полымя?..»

Между тем на Одессу наступают красные. В городе вводят осадное положение, но уже многим ясно: это ненадолго. Многим, но отнюдь не Макс, которого, кажется, совсем не волнуют царящая кругом суматоха и предстоящие политические пертурбации. Вспоминает Бунин: «Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе, в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице: „Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!“» Да и уезжать не следует. Макс пытается убедить в этом А. Толстого, который активно призывает его к бегству: родина гибнет, всё вокруг рушится... Но нет, это не по-волошински: «Когда мать больна, дети остаются с нею».

Он по-прежнему засиживается по вечерам у тех, кто ещё не уехал. Часто беседует с Буниним, поражая его своей оживлённостью, граничащей с бестактностью: «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Война ли, мир, революция, эвакуация – всё едино: Макс, пишет Бунин, «говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит». Бунин и раньше-то морщился от антропософских идей, а уж в лихое время слышать о том, «будто „люди суть ангелы десятого круга“, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами», по меньшей мере странно. Тем более когда собеседник уверяет, «что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел» (это при нынешних-то разбоях), тут уж любой задумается: всё ли с ним в порядке...

Между тем стремление «спастись», не уезжая, проявляют многие одесские художники, которые организуются в профессиональный союз вместе с малярами. «Мысль о малярах подал, конечно, Волошин, – иронично замечает Бунин. – Говорит с восторгом: „Надо возвратиться к средневековым цехам“».

В спокойном изложении художника А. М. Нюренберга дело выглядело так: «На второй день после прихода советской власти я оставил свою педагогическую работу, собрал группу революционно настроенных художников и отправился с ними в исполком. В бригаду, кроме меня, входили поэт Максимилиан Волошин, художники: Олесевич, Фазини (брат Ильи Ильфа), Экстер, Фраерман, Мидлер, Константиновский и скульптор Гельман. Представляя секретарю исполкома Фельдману бригаду, я говорил ему о нашем революционном энтузиазме... Фельдман, пожав каждому руку, сказал, что новая власть рада нашему приходу и ценит наше желание работать для революции».

Примеру художников последовали литераторы. Заседание в Художественном кружке по поводу организации их союза состоялось 17 апреля. Никогда не проявлявший «желания работать для революции», Бунин описывает это собрание так: «Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, „старых“ и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой... быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: „Товарищи!“ Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых

поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: „Долой! К чёрту старых, обветшалых писак! Клянёмся умереть за Советскую власть!“ Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава „в знак протеста“ покидает зал. Волошин бежит за ними – „они нас не понимают, надо объясниться!“» Да где там... Кому и с кем удавалось тогда «объясниться»...

Пожалуй, героико-комическая деятельность Макса в Одессе достигает своего апогея в период подготовки к празднованию Дня всемирной солидарности трудящихся. Слово – Бунину: «Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, „в жизни самое главное – искусство, и оно вне политики“. Волошин тоже загорается рвением украшать город; фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам – непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине *сокрыт страждущий Серафим*, что есть 9 серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы принять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветлённые лики...»

Ну а «серафимы» тем временем создают комиссию по проведению праздничных мероприятий. Руководителем литературного отдела назначен Волошин вкупе с неким Монастырским. Макс отнёсся к этому со свойственным ему энтузиазмом, хотя Бунин его предупреждал: «...не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: „Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и художник“. – „В украшении чего? Собственной виселицы?“ – Всё-таки побежал. А на другой день в „Известиях“: „К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам“». Бунин имеет в виду газету «Известия Одесского Совета рабочих депутатов», где 23 апреля 1919 года появилась статья некоего Ивана Квитко «Необходимо приступить к чистке», в которой красный журналист клеймил Волошина за сотрудничество в «социал-реакционном» «Деле», за стихи и прозу, где тот «с большим подъёмом описывал... ужасную участь Феодосии, расстрелянной апокалиптическими матросами», и призывал товарищей рабочих и матросов отказаться от его таланта и услуг.

Макс пытается оправдаться, объяснить своим оппонентам, что печатался он и в «правых», и в «левых» органах и не видит в этом ничего зазорного, ведь ни один из них не соответствовал его взглядам на жизнь; он имеет претензию «быть автором собственной социальной системы». Да кому она нужна, твоя система... Письмо Волошина в газету, «полное благородного негодования», естественно, не напечатали; напечатали лишь это: «Волошин устранён из первомайской художественной комиссии», после чего он горько жаловался Бунину: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

На этом пребывание поэта в Одессе закончилось. Пришло время возвращаться домой, в Крым, но это – целая проблема. Впрочем, перед волошинской энергией никакая проблема не устоит. Бунин: «Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается, и как это часто бывает, через хорошенькую женщину. „У неё реквизировал себе помещение председатель Чека Северный. Геккер (жена публициста Н. Л. Геккера. – С. Я.) познакомила меня с ней, а она – с Северным“. Восхищался и им: „У Северного кристальная душа, он многих спасает!“ – „Приблизительно одного из ста убиваемых?“ – „Всё же это очень чистый человек...“ И не удовольствовавшись этим, имел жестокою наивностью рассказать мне ещё то, что Северный простить себе не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...»

Настоящая фамилия этого Северного – Юзефович. Сын одесского доктора с характерной «революционной» судьбой. Волошин же видит в нём демоническую фигуру и

возводит на пьедестал, как раньше – Савинкова. В материалах к будущему циклу «Личины» Волошин несколькими штрихами набрасывает образ своего героя: «Весь звенящий своей мечтой. Мягкие рыжие волосы. Веснушки... Он был в отряде подрывателей. Только что вырвался из застенка... Ему вгоняли щепочки под ногти, ему подпаливали пальцы на огне. Ему читали приговор, ставили к стенке, стреляли по верх головы и вели на допрос... Приход большевиков спас его. В нём нет отмщения и злобы. Но его иступлённая кротость пугает больше кровожадности». В конце августа 1919 года Одесса перешла к белым, Северный был схвачен контрразведкой...

Так или иначе Одесская ЧК выдала поэту соответствующий документ. Посодействовал отъезду Волошина и командующий Черноморским флотом А. В. Немитц. Ещё бы, тоже поэт, особенно хорошо, по мнению Макса, освоивший рондо и триолеты. Словом, дело сладилось. Путешествие обещало быть непредсказуемым, но приятным, ведь вместе с Волошиным в Крым отбывала Татида. Последнюю ночь провели у Буниных. «Провожать его было всё-таки грустно. Да и всё было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, – электричества не позволяли зажигать, – угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному – матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, – до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдёт это плавание на дубке до Крыма...»

Рано утром 10 мая парусная шхуна «Казак» вышла в море. Вдали чуть виднелся город

...Весь в красном иступленьи
Расплёсканных знамён,
Весь воспалённый гневом и страхом.
Ознобом слухов, дрожью ожиданий,
Томимый голодом, поветриями, кровью,
Где поздняя весна скользит украдкой
В прозрачном кружеве акаций и цветов.

А здесь безветрие, безмолвие, бездонность...
И небо и вода – две створы
Одной жемчужницы.
В лучистых паутинах застыло солнце.
Корабль повис в пространствах облачных,
В сиянии притушенном и дымном.

(«Плаванье»)

Максу с Татидой были «приданы» трое матросов-чекистов; кроме них экипаж судна насчитывал двух человек. Вскоре состоялась встреча с французским миноносцем. «Мы были остановлены, – рассказывает Волошин, – к нам на борт сошёл французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такового и рекомендовался „буржуем“, бегущим из Одессы от большевиков. Очень быстро мы столковались: общие знакомые в Париже и т. д. Нас пропустили. „А здорово вы, товарищ Волошин, буржуя представляете“, – сказали мне после обрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что всё сойдёт так быстро и легко. Их отношение ко мне сразу переменялось...»

16 мая Волошин пишет Бунину из Евпатории: «Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждём поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мёртвой зыби, были обстреляны пулемётным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь

застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идёт не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

Что касается пулемётного огня, то он был открыт молодчиками батьки Таранова, «бывшими каторжниками, пользовавшимися в Крыму дурной славой». Сам поэт, по его воспоминаниям, сидел в это время, «сложив ноги крестом и переводил Анри де Ренье». Не растерялись и матросики. Свита Волошина ответила «малым загибом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины: пулемёт сразу поперхнулся и остановился... Нас перестали обстреливать, дали поднять красный флаг и, узнав, что мы из Одессы, приняли с распростёртыми объятиями». Естественно, и напоили, и накормили, и на какой-то старозаветной коляске домчали до Евпатории, где очередная ЧК выдала очередные бумаги и определила на какой-то постоялый двор. Теперь можно было осмотреться и отдаться лирическим настроениям, совсем как в мирное время:

...Мел белых хижин под луной.
Над дальним морем блеск волшебный,
Степных угодий запах хлебный –
Коровий, влажный и парной.

И русые при первом свете
Поля... И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.

(«Бегство»)

«Мои приключения только и начались с выездом из Одессы, – пишет Волошин Бунину. – Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до „командарма“, который меня привёз в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым...»

А дело было так... Прогуливаясь с Татидой по городу, Волошин заглянул в один из сохранившихся ресторанов. Присели. За соседним столиком обедала семья, глава которой, весьма представительный мужчина, принялся сверлить поэта глазами. Волошину товарищ (или господин) знакомым не показался: «Вы меня знаете?» – «А я был у вас в Коктебеле несколько лет назад... заезжал из Судака по рекомендации Герцык. Вы показывали рисунки; мы полночи просидели, беседуя, в вашей мастерской. Я был тогда ещё в почтовой форме»... Случается же... Бывший почтовый работник И. С. Кожевников взлетел на пост командарма. В настоящий момент – в отпуске в Крыму. Что, есть сложности с выездом из Евпатории, нет поездов? Это дело поправимое: «Я сию минуту телеграфирую Дыбенке, чтобы от них прислали нам паровоз. И завтра сам отвезу вас до Симферополя. Будьте здесь с матросами в 4 утра».

Похоже, что в глазах своих сопровождающих уже сам поэт поднялся на уровень командарма. «До сих пор я сам, с трудом и напряжением, тащил мои чемоданы, – теперь матросы сами наперебой хватили их и даже подрались из-за того, кто понесёт». Чекистов откомандировали в теплушку; Волошин с подругой ехали в вагоне Кожевникова. Завязывался интересный разговор. Со свойственным строителям светлого будущего размахом, с опорой на научный фундамент командарм завёл речь об освобождении... нет, не народа от кровопийц-угнетателей, а Земли – от законов всемирного тяготения.

– Сперва мы ей ось выпрямим: ведь климаты имеют причиной главным образом искривление земной оси. А когда ось выпрямим – тогда на всей земле ровный климат будет.

– Как же вы, любопытно будет узнать, ей ось выпрямите?

– А у меня для этого дела система механических вёсел придумана – по всему экватору. Они и будут грести – то с одной стороны, то с другой.

– Обо что грести?

– А вот, как начнём грести, тогда и видно будет, тогда и узнаем, в чём земля плавает. Тогда и путешествовать поедём по всемирному пространству. Довольно нам, в самом деле, в крепостной зависимости от солнца пребывать – точно лошадь на манеже, по кругу бегать!

И всё же на данный момент это «освобождение» представлялось весьма проблематичным. А вот освобождение от социальных комплексов, похоже, уже состоялось. Старый «буржуй» Волошин узнал, что нынче формируется класс «новой буржуазии» и сам командарм принимает в этом непосредственное участие: одних нарядов он своей мадам Кожевниковой нашёл на много лет вперёд. «...Нельзя же ей будет так показаться, когда революция кончится!» Вот так и ехали, с ветерком, в мифологическом времени.

А в реальном – поэта ожидали конкретные неприятности. Крым находился на осадном положении. Настороженность революционных властей возрастала не по дням, а по часам. А тут ещё этот загулявшийся лектор-буржуй с весьма сомнительными взглядами. Председатель Симферопольского ревкома Е. Багатурьянц («Лаура») была настроена весьма решительно (большевистские дамы-командирши отличались почему-то особой свирепостью): пусть только явится в Крым – мы ему покажем. И надо же – так испортить человеку настроение! Предвкушала праздник расправы, а что получила? Искомое буржуя в бронированном правительственном вагоне... Кроме того, Волошин познакомился через Кожевникова с грустным длинноволосым юношей, который оказался могущественным политкомом Ахтырским, имеющим полномочия повесить самого Дыбенко без суда и следствия в 24 часа. (Юноша этот впоследствии окажется провокатором.) Короче говоря, путь на Феодосию был свободен. Мандат Ахтырского действовал как волшебная палочка. Давали лошадей, оказывали всяческое содействие... 26 мая поэт был уже в Коктебеле.

«...Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём, – пишет он Бунину, – первый десант добровольцев был произведён в Коктебеле, и делал его „Кагул“, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу...» А дело обстояло вот как. В середине июня 1919 года в коктебельскую бухту вошёл крейсер «Кагул», а с ним – два английских миноносца и баржа с солдатами. Белый десант под командованием генерал-майора Я. А. Слащова должен был высадиться на берег и двинуться к Феодосии. Корабельные орудия вели огонь. Вскоре в волошинском доме появились офицеры с «Кагула»...

Выяснилось, что обстреливали Старый Крым, где, как предполагалось, находился штаб красных. Казалось бы, Коктебелю и его жителям ничто не грозило. Тем не менее обстановка постепенно стала накаляться. «Коктебель был никак не защищён, – вспоминает Волошин, – но 6 человек кордонной стражи из 6 винтовок обстреливали английский флот. Это было совсем бессмысленно и неожиданно. Крейсер сейчас же ответил тяжёлыми снарядами... Они были направлены в домик Синопли, из-за которого стреляли. „Бубны“ разлетелись в осколки». Теперь уже с кораблей обстреливали любое скопление народа, очевидно, в порядке профилактики. Между тем «скопления» представляли собой косцы сена и рыбаки, убирающие сети. «Недоразумение» могло оказаться роковым для многих жизней, и Максиму вновь пришлось выступить в роли адвоката, точнее, парламентаря от мирных жителей. «Дали лодку. Я навязал на тросточку носовой платок – белый флаг – и поехал на крейсер... Когда мы огибали „Кагул“ (он вблизи был громадиной), нам дали знак, что сходня спущена с левого борта (так встречают почётных гостей). Взобравшись по крутой лестнице, я снял шляпу, вступая на палубу, и был тотчас же проведён к командиру судна». Естественно, все вопросы уладились, поэт был приглашён в кают-компанию, где встретил массу знакомых. Здесь были слушатели его лекций, участники вечеров и концертов. Собственно говоря, чтением новых стихов и завершилась эта своеобразная дипломатическая миссия.

Военная кампания в районе Восточного Крыма на данном этапе закончилась в пользу белых. Добровольцы заняли Феодосию. И тут нависла опасность над Н. А. Марксом, который вместе с В. В. Вересаевым возглавлял отдел народного образования. Волошину предстояло сыграть в деле «красного генерала» свою самую яркую и трудную

«адвокатскую» роль.

Никандр Александрович Маркс, профессор археологии, историк, палеограф, фольклорист, издатель древних русских букварей, являвшийся, по выражению Волошина, «живым средоточьем Киммерийской старины, её преданий, быта и духа», был генералом в отставке. В начале мировой войны его мобилизовали, и в 1914 году Маркс получил звание генерал-лейтенанта. С июня 1915 года он возглавлял штаб Одесского военного округа, после Февральской революции стал членом Совета рабочих и солдатских депутатов, а в конце сентября вновь – командующим Одесским военным округом. В этот период Маркс фактически возглавляет органы местной власти. С апреля 1919 года, уже при красных, он руководит отделом народного образования в Феодосии. Волошин считал вполне естественным такой поворот в судьбе Маркса, который, «конечно, не мог покинуть своего Крыма, своей Феодосии на произвол большевикам и остался его защищать, и благодаря его участию в Комитете народного просвещения Феодосии удалось пережить вторую волну большевизма без кровавых расправ, школа была спасена от разгрома, а учительский персонал – от голодной смерти».

Однако после захвата Крыма А. И. Деникиным «красный генерал» Маркс был арестован и приговорён к каторжным работам, что, учитывая его возраст, было равносильно смертному приговору. В этот момент, рассказывает Волошин, «когда все от него отвернулись, как от зачумлённого, я поехал вместе с ним» в Керчь, во время белого террора, «и мне удалось не только предотвратить его расстрел, но и направить... дело в Екатеринодар, провести через военно-по-левой суд и, несмотря на обвинительный приговор, добиться – не оправдания, – а освобождения его, вопреки воле всей армии и прессы, требовавших казни». Последнюю точку в «деле Маркса» поставил генерал А. И. Деникин, который проявил поистине библейскую мудрость: он утвердил приговор суда, но приказал освободить Маркса из-под стражи. «Таким образом, Н. А. Маркс – учёный человек – получил возможность вернуться к своим трудам, а виноватый генерал, незримо из него выделенный лишением чинов, был символически послан отбывать символические каторжные работы», – подводит итог Волошин в статье «Соломонов суд». Однако в этой истории важен не только итог. Знаменательна сама драматургия волошинской миссии, развернувшаяся на театре Гражданской войны.

Получив в Феодосии пропуск для себя и жены Маркса, Екатерины Владимировны Виганд, Волошин отбывает в Керчь. «Мы с Екатериной Владимировной погрузились в поезд, в товарный вагон. Рядом с нами был такой же вагон (теплушка так называемая), в котором ехал Маркс с несколькими солдатами – стражею... Поезд двинулся с опозданием на 5–6 часов и затем на всех полустанках керченского пути, которых было так много, останавливался по 6 часов... Это был первый воинский поезд, который шёл через линии только что взятых с боя позиций. Везде были следы бомбардировок и атак: воронки, разорванная проволока, выломленные двери... Солдатская стража, которая была приставлена к Марксу, уже давно была на его стороне...»

Владиславовка. Макс наблюдает, как ожидающая отправления публика бесцельно бродит по перрону, напоминая сонных мух. К вагону-теплушке приближается офицер и спрашивает у часового:

– Не знаешь, кого это везут арестованным?

– Генерала Маркса, – отвечает солдат, – который партийный манифес придумал.

– Маркс – большевистский главнокомандующий? А ну-ка посторонись, братец, я его сейчас на месте порешу.

Перед ним возникает грузный человек в пенсне. Офицер отпрянул, поражённый сходством этого человека с теоретиком мирового пролетариата, фамилию которого упомянул часовой.

– Простите, господин офицер. Вам в точности известно, в чём заключается дело генерала Маркса? И в чём он обвиняется? Видите ли, я – Максимилиан Волошин, еду, чтобы быть его защитником на военном суде. Я не допущу самочинного расстрела на дороге.

Офицер слегка пьян. Он с удивлением рассматривает человека, столь дисгармонирующего со всеми окружающими. Наконец приходит в себя:

– Все вы, так вас так, заодно. Я бы всех вас к стенке! Ну, да ладно, сегодня я сговорчивый. Но в Керчи у вас этот номер не пройдет. Там всем заведует ротмистр Стеценко. Это такой... Он Маркса мимо себя не пропустит!

Поезд тронулся. В вагоне-теплушке один из солдат заметил у арестованного золотые часы: «Знаете что – подарите их мне. Ведь всё равно вас часа через два расстреляют. На что они тогда вам?» Этот же солдат через два дня в Керчи, при смене караула, скажет взволнованным голосом: «Ну, если они такого человека расстреляют, то правды нет. Тогда только к большевикам переходить остаётся».

Керчь. Приморский бульвар. Екатерина Владимировна говорит не умолкая:

– Не хватало ещё на нашу голову Стеценко! Не приведи господь попасть к нему в лапы! Вы слышали, говорят, зверь и негодяй, каких свет не видел! Запомните, Макс, – Стеценко!

– Запомнил, Екатерина Владимировна! Вы мне который раз это говорите. Да и не только вы...

– Ну, слава Богу, вот и особняк Месаксуди. Вы знаете, это самый богатый человек в городе. Он всё может! Он Никандру Александровичу жизнью обязан, всё для него сделает. Ведь когда на фронте... Вы знаете...

– Знаю, голубушка, знаю!

Макс дёргает звонок на дубовой двери роскошного особняка. Дверь вскоре отворится. Слышатся смех, музыка. Перед ними «стилизированный и англизированный» лакей:

– Чего изволите?

– Передай, братец, хозяину, – устало говорит Макс, утирая пот, – что здесь жена Никандра Александровича Маркса. Просит принять.

– Доложу. – Лакей закрывает тяжёлую дверь.

На приморском бульваре красота природы и мертвечина войны. Ещё совсем недавно здесь на деревьях вешали большевиков, захваченных в каменоломнях. Волошин всматривается в ночь: «Ну вот, передам Маркса Месаксуди – а там всё пойдёт как по маслу...» Распахивается дубовая дверь. Лицо лакея непроницаемо.

– Барин заняты-с... У них гости... Принять не могут-с...

Дверь звучно захлопывается. Екатерина Владимировна плачет:

– Как же так?.. Почему?

– А потому, голубушка, что ротмистр Стеценко, как видно, ещё не самый большой негодяй в этом городе. Поищем-ка лучше ночлега. Комендантский час... На что угодно нарваться можно!..

Они идут по ночной улице. Волошин погружён в себя: «Месаксуди струсил – боится себя скомпрометировать. Маркс остаётся всецело на моих руках. Значит, я должен спасти его без посторонней помощи. Но я ничего не знаю о воинской дисциплине, о военных порядках. Я даже не знаю, в чьих руках сейчас судьба Маркса и кого я должен прежде всего видеть и с кем говорить. Я не знаю, что я буду делать, что мне удастся сделать, но я прошу судьбу поставить меня лицом к лицу с тем, от кого зависит судьба Маркса. Я даю себе слово, что только тогда вернусь домой, когда мне удастся провести его сквозь все опасности и освободить его...»

Дерево с повешенным. Табличка: «Большевик». Екатерина Владимировна испуганно крестится:

– Господи помилуй! Ротмистр Стеценко... Это его рук дело... Не приведи Господь!.. Как же теперь быть? На кого надеяться?!

– Надеяться не на кого! Будем сами спасать Никандра Александровича.

Как из-под земли – фигура часового:

– Ваш пропуск!

– Мы приезжие. Только что с вокзала.

– Вы арестованы. Идите за мной.

Ну что ж, чему бывать... «Мне было решительно всё равно, каким путём идти навстречу судьбе. Мы вошли в соседнее здание – к коменданту города. В большой полутёмной комнате сидело в разных углах несколько офицеров...»

– А, господин Волошин... Какими судьбами? Что это за солдат с вами?

– По-видимому, я арестован, а это мой страж...

– Вы свободны. А ты иди себе... Господина Волошина здесь все знают.

– Стоит мне выйти на улицу – как меня арестуют, на первом же углу.

– Хотите переночевать у меня? – спрашивает офицер на костылях. – У меня как раз есть свободная комната.

– Спасибо, но дело несколько сложнее: я с дамой. Ваш часовой сторожит её на улице.

– Вот что мы сделаем: даму положим в отдельную комнату, а мы с вами переночуем вместе: у меня в комнате есть канапе. Погодите, я возьму у коменданта два пропуска...

Небольшая комната. В углу – образ с лампадкой. Макс возится с покалеченной ногой офицера, меняет повязку.

– Позвольте мне узнать, чьим гостеприимством я имею честь пользоваться?

– Начальник местной контрразведки ротмистр Стеценко, Григорий Иванович. Вы – поэт Волошин из Коктебеля?

– Да, но знаете ли, кто эта дама, что спит в соседней комнате?

– ?

– Это жена генерала Маркса, обвиняющегося в государственной измене и сегодня препровождённого в ваше распоряжение. Я же сопровождаю его с целью не допустить бессудного расстрела...

Офицер рывком поднимается, опираясь на подоконник. Его сузившиеся глаза в упор смотрят на Макса:

– Да... действительно... Знаете, с подобными господами у нас расправа короткая: пулю в затылок и кончено...

Макс молчит. А тот продолжает сыпать рублеными фразами:

– Негодяй, изменник... Какое может быть снисхождение? Есть красные, есть белые! Одно из двух: или ты за красных, или за белых! Середины быть не может!

Макс молчит. Может быть, именно сейчас у него рождаются строки:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

(«Гражданская война», 1919)

Образ Владимирской Богоматери, освещённый тёплым огоньком лампы, притягивает взгляд поэта: «Пресвятая Богородица, всем христианам Заступница! Не за жертву молю тебя, не за Никандра, а за палача, за убийцу Григория. Муки более страшные в душе его; более страшная, чем у жертвы, доля его. Муками земными, телесными кончатся мучения жертвы, но вечное проклятие убийцы ляжет на палача, не смывается кровь убиенного с совести его. И после смерти душа его будет обогрета кровью жертвы, имя его запятнано клеймом позора и презрения... Не дай погибнуть палачу сему Григорию ради жертвы его, Никандра...»

Макс давно усвоил: «Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена за него: не все молитвы доходят потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чём»

надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей – убийцы и жертвы – в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей – и в результате молитвы можно не сомневаться...»

В полутьме комнаты висит тишина... Наконец ротмистр выдавливая из себя:

– Если хотите его спасти, вы не должны допускать, чтобы он попал в мои руки. Сейчас он у коменданта. И это счастье, потому что, попади он к нам, мои молодцы тотчас бы с ним расправились, не дождавшись меня. Я утром протелефонирую, чтобы его срочно отправили в Екатеринодар. Кстати сказать, есть тайное распоряжение о том, чтобы всех генералов и адмиралов, обвинённых в сношениях с большевиками, судили именно там. Возьмите на всякий случай выписку из этого приказа...

Так начался заключительный этап «адвокатской» кампании Волошина. Он плыл на военном корабле до Новороссийска, причём его соседом по каюте оказался В. М. Пуришкевич, который также считал, что «подобных (Марксу. – С. П.) господ надо расстреливать без суда, тут же на месте». На вопрос о будущем монархизма в России политический муж ответил: «В России сохранилось достаточно потомков Рюрика, которые сохранили моральную чистоту рода гораздо более, чем Романовы. Хотя бы Шереметевы!»

В Екатеринодаре Макс обошёл всех деникинских генералов, но с самим Антоном Ивановичем ему познакомиться не удалось. У Маркса же в это время случился приступ грудной жабы, и его поместили в тюремную больницу. Екатерине Владимировне никто не препятствовал часами сидеть у мужа. А «дело» его что-то забуксовало: «Военно-полевой суд было очень трудно составить. Для того чтобы судить полного генерала, необходимо было, чтобы председательствовал в комиссии тоже полный генерал. Между тем в Добровольческой армии, при отсутствии чинопроизводства, полных генералов совсем не было. Генерал-майорами, генерал-лейтенантами – хоть пруд пруди, а полных генералов – ни одного. Наконец, наметили одного – старенького генерала Экка... Но его не было в Екатеринодаре...» Конец этой истории мы уже знаем. Отметим вскользь, что Волошин, не повидавшись лично с Деникиным, направил ему письмо, переданное главнокомандующему одновременно с приговором военно-полевого суда. Поэт, в частности, писал, что «приговор в этом деле в некоторой степени является и приговором судящих над самими собою, принимая в соображение „приговор Истории“...». Состоялся в Екатеринодаре и публичный вечер, на котором Волошин выступил со стихами о революции...

Так завершилась повесть о Никандре Марксе. Были, конечно, тревожения на обратном пути, когда «изменника» хотели «шлёпнуть» в поезде, но широкая грудь Макса всегда вовремя защищала от опасности. Попытались добраться до «негодяя» и в Отузах, но, к счастью, на пути к дому профессора встречалось немало винных подвалов, в которых мстительное чувство, как правило, растворялось... На самого поэта эти люди ещё долго показывали пальцем, приговаривая: «Вот только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого изменника Маркса». Ну а «красный генерал» Маркс был избран в декабре 1920 года первым ректором Кубанского университета. За три месяца до смерти...

Генерал Н. А. Маркс и генерал А. И. Деникин... Эти две столь разные фигуры каким-то загадочным образом сближают жизненные орбиты М. А. Волошина и другого свидетеля-летописца «суровых лет» России И. С. Шмелёва. В январе 1917 года, ещё не зная, куда судьба забросит сына (впоследствии, при большевиках, расстрелянного), Иван Сергеевич пишет ему: «Если случится быть в Одессе, имей в виду, что начальник штаба генерал Маркс меня хорошо знает, и сам он литератор...» Тот самый Н. А. Маркс, над которым впоследствии Волошин не позволит совершить самосуд и которого генерал Деникин освободит из-под стражи. Сам же А. И. Деникин, а особенно его жена, Ксения Васильевна, будут близкими друзьями Шмелёва во Франции. И ещё одно знакомое нам имя: А. С. Яценко, однокашник Волошина, издатель журнала «Русская книга», тот самый, к которому Шмелёв обратился с просьбой помочь ему получить визу и который опубликовал в

Берлине «Стихи о терроре» Волошина. Можно долго говорить о причудливых сплетениях судеб, но важнее ещё раз обратить внимание на творческие переключки двух великих «крымчан».

Наступали кульминационные дни лихолетья, когда уже подняты «на ножи армии, классы, народы» (Волошин), и вскоре оказывается, что «всё уже, как трава, прибито» (Шмелёв). «Те, что убивать ходят», показаны обоими писателями жёстко, колоритно. Вот «тупорылый парень с красной звездой на шапке», сидящий на часах у церкви, превращённой в тюремный подвал. Или музыкант Шура-Сокол, «стервятник», пахнущий кровью и выменивающий чувственные утехи на муку и соль. «А то пропылит на мухростой запалённой лошадке полупьяный красноармеец, без родины – без причала... в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведёрным бочонком у брюха – пьяную радость везёт начальству из дальнего подвала, который ещё не весь выпит... Остановится перед разбитой виллой... Приметит – стёклышко никак цело! Наведёт-нацелит: „А-а, едрёнать...“» («Солнце мёртвых» Шмелёва). Та же «программа действий» и у волошинского красногвардейца: «У бочек выломав днища, / В подвал выпускать вино. / Потом подпалить горище / Да выбить плечом окно. // В Раздельной, под Красным Рогом / Громить поместья и прочь / В степях по грязным дорогам / Скакать в осеннюю ночь» («Красногвардеец»), Шмелёвский матрос Всемога («Всемога»), отменивший и Бога, и культуру, новый хозяин жизни и главный инструмент власти, полагающий, что он все «природы законы знает» и, значит, может творить произвол над природой и людьми. Волошинский матрос с постоянным вопросом: «„Ну, как? Буржуи ваши живы?“ / Устроить был всегда не прочь / Варфоломеевскую ночь. / Громил дома, ища поживы, / Грабил награбленное, пил, / Швыряя керенки без счёта, / И вместе с Саблиным топил / Последние остатки флота» (цикл «Личины»).

Приметы этой «Варфоломеевской ночи», точнее, «Варфоломеевских лет» применительно к Крыму выразительно показаны Шмелёвым в романе «Солнце мёртвых»: «...здесь отнимают соль, повёртывают к стенкам... гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали „человечьи бойни“!» Почти буквальное совпадение с революционным жаргоном из волошинского стихотворения «Терминология»: «„Брали на мушку“, „ставили к стенке“, / „Списывали в расход“ – / Так изменялись из года в год / Речи и быта оттенки». Поражает конкретизация этого ужаса, зафиксированного двумя очевидцами – Шмелёвым и Волошиным. «И вот – убивали, ночью. Днём... спали... В подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву...» («Солнце мёртвых»). Стихотворение Волошина «Террор»: «Собирались на работу ночью. Читали / Донесенья, справки, дела. / Торопливо подписывали приговоры. / Зевали. Пили вино. / С утра раздавали солдатам водку. / Вечером при свече / Выкликали по спискам мужчин, женщин. / Сгоняли на скотный двор. / Снимали с них обувь, бельё, платье. / Связывали в тюки. / Грузили на подводу. Увозили. / Делили кольца, часы. / Ночью гнали разутых, голых / По оледенелым камням, / Под северо-восточным ветром / За город в пустыри...» В одном из писем Шмелёв утверждает: «Если бы случайное чудо и властная международная комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле». Волошин же прямо говорит об этих преступлениях «и всех ужасах избиений». Шмелёв и потерю сына, и бесконечную череду смертей предпочитал носить в себе. «Это моё личное. Я не хочу выносить это наружу», – говорил он своей родственнице Ю. А. Кутыриной. А для Волошина в эти годы не было ничего «личного» (спрятанного в себе); его «личное» становилось всеобщим, а голос его растворялся «в спазмах городов, в водоворотях улиц и вокзалов».

Шмелёв как автор-очевидец предпочитает иногда передать свое слово персонажу-очевидцу. Самый запоминающийся монолог в романе «Солнце мёртвых» принадлежит доктору Михаилу Васильевичу и переключается с волошинским циклом

«Усобица». Оба писателя ссылаются на Достоевского. Шмелёвский Михаил Васильевич упоминает «дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровавыми глазками узревшей», что заставляет вспомнить «Преступление и наказание». Волошин же говорит о трихинах (отсылающих к тому же роману Достоевского), микроскопических существах, вселяющихся в людей и делающих их бесноватыми. Впрочем, о влиянии Достоевского на Волошина речь ещё впереди...

Своё отношение к революционным событиям Шмелёв выразил в сказках-притчах. Волошин – в поэтических циклах «Пути России», «Личины» и «Усобица». Одна из самых известных сказок Шмелёва – «Степное чудо», в которой Россия символически изображается как убитая своими детьми женщина в богатых одеждах. Волошин в стихотворении «Святая Русь» рисует её невестой, отмеченной «красой да силой бранной», с накопленным в рундуках приданым. Она пока ещё не убита, она лишь «бездомная, гулящая, хмельная», «след босой ноги» которой благословляет поэт. Волошинская позиция – сострадание: «проплавить» молитвой, «растопить любовью» («Русь гулящая»), У Шмелёва же (как и должно быть в сказке) – надежда на чудо. Женщина-Россия, воспрянув от смертного сна, сливается с русской землёй, с природой. В романе «Солнце мёртвых» уже нет никакой надежды. Интонации писателя в обращении к России очень напоминают волошинские: «С лёгкостью безоглядной расточили собранное народом русским. Осквернили гроба святых... самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! Соблазнили тебя – какими чарами? Спояли – каким вином?» Сравним: «Поддалась лихому подговору,/ Отдалась разбойнику и вору,/ Подождла посадки и хлеба,/ Разорила древнее жилище...» («Святая Русь»).

В сказке Шмелёва «Инородное тело» вновь возникают Россия и её «дети». «Дети» – это и революционеры, сеющие смуту в народе, и конкретный сын, заражённый агитацией и выступающий против своей матери. Даже доктор, «по сумасшедшему делу знающий», не в состоянии вылечить этого парня, болезнь которого определяется как «холера мозговая». Его излечивает Время (врач-англичанин по фамилии Тайм), извлекая «инородное тело» – занозу (то есть социализм) из мозга потерпевшего. Поэт Волошин, как уже говорилось, сравнивал партийные программы с историями болезней; немало внимания уделял он и взаимоотношениям родины-матери и её воюющих «детей». Социализм в России – чуждый для неё, «инородный» элемент, считает Шмелёв. Христианство есть религия Царства Небесного, утверждает Волошин, социализм же – религия царства земного, в основе которой «Свой бред о буржуазном зле, / О светлых пролетариатах, / Мещанском рае на земле» («Гражданская война»). Болезнь эта занесена извне. «Мы созерцали бедствия рабочих / На западе с такою остротой, / Что приняли стигматы их распятий», – поясняет Волошин в поэме «Россия».

Вынет ли «Время» эту занозу из повреждённых мозгов? Как не раз говорил Волошин, единственным мыслимым идеалом для него оставался «Град Божий»... Земное «Время» – слишком ненадёжный лекарь. Земные страдания, абсурд человеческой бойни оба писателя (я не говорю о внутреннем стоицизме) изживают на «Путьях небесных» через «Откровенья вечной красоты» православия. В «Лето Господне», достижимое «силою любви», верит И. Шмелёв; М. Волошин пытается извлечь из мозгов и сердец «занозу» ненависти, «заклясть» «каждый курок и руку». Его «адвокатская» практика всё более расширяется... Правда, иногда обстоятельства вынуждали защищать не открыто, а тайно.

Поэтесса Р. М. Гинцбург вспоминает, как Волошин спас от белых её отца, революционера, журналиста (псевдоним Даян), профессора психологии Моисея Исааковича Гинцбурга. В детской памяти отложилось, как какие-то мальчишки «за кустами ограды, на дороге, пели что-то про жидов и красных. Генерал с офицерами зашли в дом Максимилиана Александровича. Мама мне ничего не говорила. Но когда на следующий день ушли белые и папа, живой, усталый, был с нами, я узнала, что Максимилиан Александрович спрятал его от белых в своей постели».

В мае 1920 года в Коктебеле при белых был раскрыт подпольный съезд большевиков,

проходивший на одной из пустующих дач. Началась перестрелка. Один из участников съезда, Илья Хмелевский (кличка Хмилько), по берегу моря добрался до волошинской дачи. «Волошин спрятал его на чердаке, – вспоминает В. В. Вересаев, – очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой». Преследователи «даже не сочли нужным сделать у него обыск». Правда, Хмилько в результате был схвачен, но уже за пределами дома поэта. Там же, на антресолях за цветным панно, довелось скрываться от красных и подпоручику Сергею Эфрону.

Э. Л. Миндлин, тогда начинающий поэт, проживавший в Отузах, пишет в своих воспоминаниях о Волошине: «И „те“ и „другие“, и белые и красные для него прежде всего русские, его русские люди. Он молился и за тех и за других, как молился за Россию, за свою Россию. В политической борьбе он не помогал ни тем ни другим. Но как отдельным людям – и тем и другим, – помогал в защите, в спасении одних от других... В разгар гражданской войны... когда Феодосия бывала занята красными, он спасал и прятал на своей даче отдельных офицеров-белогвардейцев, которым грозила смерть. Он прятал и спасал их не как своих единомышленников, которыми не признавал ни тех ни других, а как людей. И ещё больше и чаще ему приходилось так же спасать и прятать у себя красных во время белого террора в Крыму. Об этом хорошо напоминает надпись писателя-большевика Всеволода Вишневского на его книге „Первая Конная“... „Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918–20 гг. Вы оказали смелую помощь в своём Коктебеле, не боясь белых“».

В те дни мой дом, слепой и запустелый.
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища. Защиты и совета.
Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять,
А сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.

(«Дом Поэта»)

В шутку ли, всерьёз, но так и хочется сказать, что поэт Максимилиан Волошин стал настоящим специалистом по спасению поэта Осипа Мандельштама. В первом случае Мандельштаму грозил самосуд, который готов был учинить над ним озверевший от пьянства есаул. В самом конце лета 1920 года Осип, взъерошенный, влетел к Макс: «Меня хотят арестовать! Пойдёмте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы же знаете, как белые относятся к евреям». Придя на дачу, где жили братья Мандельштамы, Волошин увидел казацкого есаула «в страшной кавказской папахе». Видимо, желая как-то оправдаться перед начальством за свой загул, мордоворот в папахе решил поприжать евреев. «Это местный дачевладелец Волошин, – радостно объявил Осип Эмильевич и тут же, словно боясь упустить счастливую мысль, предложил есаулу: – А знаете что... Арестуйте лучше его!» Пораскинув пьяными мозгами, есаул согласился: «Если Мандельштам завтра не явится в Феодосию к десяти часам, я арестую вас»... Но, благо, во главе учреждения, куда должен был явиться незадачливый поэт, стоял полковник А. В. Цыгальский, как выяснилось, поклонник Мандельштама, к тому же сам стихотворец.

В другой раз Мандельштам оказался в более тяжёлом положении: он едва не стал жертвой врангелевской контрразведки. Как отмечали современники, этот щуплый, бедно одетый, но всегда заносчивый, с высоко поднятой головой поэт постоянно казался всем

подозрительным «благодаря своему виду вызывающе гордого нищего». Вот и в данном случае, как свидетельствует И. Эренбург, какая-то женщина заявила, что Мандельштам пытал её в Одессе. И на этот раз невезучего киммерийского гостя спасло заступничество Волошина. Правда, история эта осложнилась побочными обстоятельствами.

Дело в том, что в это время Мандельштам и Волошин находились в ссоре. Да, случалось у Волошина в отношениях с гостями и такое. Чаще всего – из-за любимой книги. Ещё в 1916 году будущий автор «Разговора о Данте» взял у Волошина редкое издание «Божественной комедии», увёз в Петроград, где и забыл. Когда Осип как ни в чём не бывало попросил у Макса отсутствующую по его же вине книгу, хозяин библиотеки предъявил гостю законные претензии. Неаккуратный Мандельштам, не делавший трагедии из потери чужих вещей, закатил истерику. В порядке наказания деспотического «дачевладельца» гордый поэт решил изъять из волошинской библиотеки свой первый сборник, «Камень», самолично подаренный им Пра. «Приговор» исполнил его брат Александр, стащивший «Камень» из-под носа читавшей книгу Майи Кудашевой. Эта акция очень уязвила Волошина, хотя куда больше он печалился из-за потери «Божественной комедии». «Чувство утраты» заставило Макса совершить несвойственный для него поступок: узнав, что братья Мандельштамы намереваются отправиться на Кавказ, он обратился к начальнику феодосийского порта Новинскому с просьбой не выпускать в море проштрафившихся путешественников – пусть вначале вернут книгу, а уж потом отправляются куда хотят.

Узнав о письме, Мандельштам пришёл в ярость и обрушился с ответным посланием на прижимистого коктебельца, словно Цицерон на Катилину: «Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы под толстым слоем духовного жира, простодушно принимаемом многими за утончённую эстетическую культуру, – скрываете непреходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина...» Стоит ли продолжать? Общая концепция ясна. Зачитав мандельштамовский перл присутствовавшим в мастерской «обормотам», Волошин выступил с заявлением: «Если кто из вас потеряет какую-нибудь книжку, взятую из моей библиотеки, то рекомендую вместо того, чтобы извиняться, написать мне ругательное письмо». И повертел перед публикой присланным ему образцом.

И вот теперь гневный обличитель волошинского скопидомства оказался в каталажке, за несколько дней до отплытия в Феодосию. Здесь за него взялись люди серьёзные, не то что недавний есаул. Осип сходил с ума от ужаса и пытался объяснить стражам, что он не создан для тюрьмы. На допросе он огорошил следователя вопросом: «Скажите лучше: невинных вы отпускаете или нет?» Согласно легенде, ответ был таков: «Сначала лишаем невинности, а потом отпускаем». Поэт впал в запредельное состояние и был переведён в психиатрическое отделение тюремной больницы. Тогда-то и наступил момент выхода на сцену героя: никто, кроме Волошина, разрубить этот гордиев узел не мог.

Макс болел, был зол на Мандельштама, к тому же не имел дружеских связей с влиятельными лицами из Добровольческой армии. Тем не менее под давлением коктебельской литературной общественности он написал письмо начальнику врангелевской контрразведки Апостолу: «Милостивый государь! До слуха моего дошло, что на днях арестован подведомственными Вам чинами поэт Иосиф Мандельштам. Т.к. Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слышали имени поэта Мандельштама... то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает в русской поэзии крупное и славное место. Кроме того, он человек крайне панический, и, в случае, если под влиянием перепуга... что-нибудь с ним случится, за его судьбу будете ответственны Вы перед русской читающей публикой... Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе вообще не способен, а также и к политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал».

Письмо это должна была передать княгиня Кудашева, чей титул не мог не произвести впечатления на добровольческое начальство. Господин Апостолов действительно принял Майю весьма любезно, но, прочитав тут же при ней письмо, недоумённо вскинул глаза: «А

кто же такой Волошин? Почему же он мне так пишет?» – «Поэт... Он со всеми так разговаривает», – невинно прошептала княгиня Кудашева. «Письмо нарочно было написано в таком духе, – вспоминает Волошин. – Оно было корректно, но на самом лезвии... Это был обычный тон моих отношений с Добровольческой армией. Начальник контрразведки очень недовольным жестом сложил бумагу и сунул в боковой карман. И на другой день велел отпустить Мандельштама». Заметим здесь, что сохранился и черновик письма Волошина в Севастополь к П. Б. Струве, министру иностранных дел врангелевского правительства, пользующемуся большим авторитетом в Добровольческой армии, с ходатайством за Мандельштама. Очевидно, поспособствовал делу освобождения поэта и полковник Цыгальский...

Спасая поэтов и генералов, Волошин не забывает и о литературной работе. В Коктебель по-прежнему стягивается творческая интеллигенция. На своих дачах живут В. Вересаев, Г. Петров, Н. Манасеина, П. Соловьёва; часто наезжают драматург К. Тренёв и литературовед Д. Благой; на одной из дач поселяется прозаик А. Соболев; частым гостем оказывается И. Эренбург; объявляется даже лингвист С. Карцевский, профессор Кембриджского университета. С помощью творческого общения преодолевали голод, а иногда и холод. Волошин и здесь остаётся верен себе: заботится о тех, кто рядом и кто вне поля зрения. Он помогает дровами – Майе, деньгами – Эфрону, устраивает крупный заём для умирающего от чахотки в Ялте поэта и критика Николая Недоброво.

Несмотря на тяжёлые условия жизни, в Феодосии возникает литературно-артистический кружок (ФЛАК) со своим помещением. Инициатором его создания был актёр и режиссёр А. М. Самарин-Волжский (Левинский). Завсегдатаем кружка был полковник А. В. Цыгальский. Э. Л. Миндлин оставил описание артистического приюта и его быта: «Два маленьких зала вмещали небольшое кафе поэтов. Третий зал – маленький, с окошком на кухню – служебный. На кухне готовили отличный кофе по-турецки и мидии... с ячневой кашей. Спиртных напитков да и вообще ничего, помимо кофе и мидий... не подавалось... В глубине большого зала воздвигли крошечную эстраду и расставили перед ней столики... Кто только здесь не бывал! Белогвардейцы, шпионы, иностранцы, артисты, музыканты. Какие-то московские, киевские, петроградские куплетисты, поэты, оперные певцы, превосходная пианистка Лифшиц-Турина, известный скрипач... Борис Осипович Сибор и певичка Анна Степовая, известные и неизвестные журналисты, спекулянты и люди, впоследствии оказавшиеся подпольщиками-коммунистами. Бывал здесь и будущий первый председатель Феодосийского ревкома Жеребин, и будущий член ревкома Звонарёв, писавший стихи... Бывали и выдающийся русский художник К. Ф. Богаевский, и пейзажист-импрессионист Мильман, большую часть жизни проживший в Париже, и Феодосией Мазес, расписавший подвал персидскими миниатюрами...»

Сюда следует добавить поэта и литературоведа Д. Благого, бывшего учителя Макса профессора Ю. Галабутского, читавшего лекцию «Чехов – Чайковский – Левитан» и постоянно рассуждавшего о «сумерках души русской интеллигенции», поэта, художника, искусствоведа В. Бабаджана, руководившего в Одессе издательством «Омфалос», которое переиздало книгу Волошина «Верхарн (Судьба. Творчество. Переводы)». Простецкая эстрада ФЛАКа стала подмостками для певцов Большого театра В. Касторского, Г. Юренева, В. Андриевской, танцовщицы Камерного театра Н. Ефрон. Появлялись поэтессы А. Герцык и С. Парнок. Анастасия Цветаева по традиции читала стихи сестры. Хорошо вписывалась в царящую здесь атмосферу М. Кудашева. А атмосфера была довольно-таки своеобразная: «Бывали в кафе... какие-то странные девушки, похожие на блудливых монашек. Странные эти девушки сходили с ума от стихов, были очень религиозны, много говорили о христианстве, вели себя как язычницы, читали блаженного Августина, часто покушались на самоубийство и охотно позволяли спасать себя».

Однако прославили кафе всё же не «блудливые монашки», а выступавшие там поэты: Волошин, Мандельштам, Эренбург, Бабаджан, Миндлин, Соколовский, Полуэктова, скрипач Сибор. Волошин, как обычно, выступал со стихами и с лекциями: «Война и демоны машин»,

«„Двенадцать“ А. Блока». На вырученные от этих выступлений деньги начали издавать литературно-художественный альманах «Ковчег». Волошин запомнился Миндлину таким: «Он был в чёрном пальто поверх костюма с брюками до колен и в толстых чулках, в синем берете». Первая реплика, которую он произнёс, была посвящена Мандельштаму: «Нелеп, как настоящий поэт!» (Потом выяснилось, что Макс не дождался Осипа в условленном месте и на всякий случай спустился в подвал, но определение за Мандельштамом закрепилось.)

Сам Волошин, как считал Миндлин, «был поэт подлинный, очень большого таланта, огромной поэтической культуры, глубоких и обширных знаний, чётких пристрастий и антипатий в искусстве. Но вот уже в ком не было ничего „нелепого“! И это несмотря на всё своеобразие его внешности, на вызывающую экстравагантность наряда, на всегдашнюю неожиданность его высказываний и поступков. Нелепость предполагает необдуманность, несоразмерность, нерасчётливость. В Максимилиане Волошине было много необычного, иногда ошеломляющего, но всё обдуманно и вот именно лепо!» Миндлин не соглашался с Мандельштамом в том, что «христианство» Волошина происходило от его всегдашней потребности в эпатаже, от его желания нравиться самому себе. Молодой писатель с самого начала был убеждён, что перед ним – настоящий эрудит, христианин-философ, который, впрочем, относится к нехристианским суевериям так же серьёзно, как и к постулатам христианства: «Он встретил меня на верхней улице в Феодосии и, увидев, что я иду навстречу ему с двумя ведрами, наполненными водой, весь как-то сразу от удовольствия просветлел... Он принялся объяснять, что встреча с несущим полные ведра – проверенная примета и сулит удачу в делах. Когда, неуверенный, не разыгрывает ли меня Волошин, я отпустил какую-то шутку насчёт суеверий, Волошин назидательно и очень серьёзно предостерег от пренебрежения к „разуму недоступным вещам“. Приметы для него были явлениями непознаваемого, „недоступного разуму мира“...»

Об акварелях Волошина Миндлин отозвался следующим образом: «В сущности, все они об одном и том же – о мудрости и красоте близкой ему киммерийской земли и неба над ней. Такого малого куска земли и такого малого участка неба над ней! Но в этих малых кусках земли и неба зоркий поэт и художник видел неисчерпаемые миры! В какой-то мере эти несколько условные, с географической чёткостью выписанные пейзажи, в которых камни дышат и облака поют, сродни полуфантастическим пейзажам известного художника Богаевского...» Автор воспоминаний обращает внимание на то, что отношения Волошина и Богаевского «были трогательно дружественны. Какая-то взаимная нежность в их обращении друг к другу сочеталась с таким же взаимным глубоким уважением. Словно каждый считал другого своим учителем».

К началу весны 1920 года Волошину становится неуютно во ФЛАКе: там и сям снуют большевики-подпольщики, обретшие здесь своё «прикрытие», как следствие этого – визиты контрразведчиков с проверкой документов, не очень-то охочая до поэзии жующая публика. Неожиданно поэт получает предложение от Еврейского литературного общества «Унзер винкль» («Наш угол») выступить у них с литературным концертом. В Феодосии в это время действительно осело немалое количество евреев-литераторов, так что образование собственного литературного общества было явлением закономерным. Макс вспоминает, как к нему пришли его представители и произнесли несколько фраз с характерной интонацией: «У вас сейчас трудные дни; вы, наверное, сидите без денег. А хотите, мы устроим для вас литературный вечер?» Волошин хотел; к тому же прекрасно понимал, что ему оказывают большую честь, ибо литераторы несемитского происхождения в это общество не допускались. Парадоксально, но с помощью Еврейского литературного общества Максудалось поправить свои дела, выступить с лекциями и стихами. Было и нечто забавное: после прочитанного поэтом стихотворения «Видение Иезекииля» вся аудитория, поднявшись, пропела хором «торжественную и унылую песнь на древнееврейском языке». Очевидно, в довольно-таки специфических стихах русского поэта слушатели-евреи почувствовали «подлинный голос древнего Иудейского пророка».

В своём отношении к евреям Волошин проявляет свойственные ему мудрость и

последовательность. Полемизируя с А. М. Петровой, склонной к антисемитским настроениям, Макс пишет ей 17 октября 1919 года: «Боюсь, что мы ни о чём с Вами не договоримся. Вспомните слова Соловьёва о том, что евреи всегда относились к христианам согласно требованиям их иудейской религии, но что христиане никогда не относились к евреям так, как того требовало учение Христово. Я хочу только христианского отношения к расе, которой мы обязаны истоками своей веры и которая вся целиком, рано или поздно, согласно точным словам Апостола Павла, придёт ко Христу и спасётся. Я ничего лучшего не желаю, как ценить и весить евреев точно и верно. Но весить их на весах христианских, а не на весах „иудейских“, как это делают обычно христиане. Погром, насилие, экспатриирование – всё это плохие средства для пропаганды христианской идеи. Они создают то, что сейчас, несмотря на все грехи иудеев, их надо защищать изо всех сил. Не случайно евреи живут на русской территории: мы взаимно должны многому друг от друга научиться, оставаясь самими собою. Впрочем, я ничего не имею против того, чтобы иудеи становились христианами, и не хочу, чтобы русские „жидовствовали“ и сами делали всё то, в чём они упрекают евреев». Что касается «роли евреев во время революции», то поэту она представляется «значительной и интересной», однако, считает он, оценивать её пока рановато: «нет ни материалов, ни разбега для перспективы».

В поэзии Волошина периода окончания Гражданской войны наряду с риторико-проphetическими тенденциями наблюдается некоторое умиротворение; для него характерно тяготение к религиозным темам. Причём это не сводится к традиционному для него перегружению стихов библейской символикой. Художник пытается наполнить их религиозным духом, создать атмосферу просветления, ощущения Божьего присутствия. Поэт зачитывается книгой отца Сергия Булгакова «Свет невечерний». Из-под пера Волошина выходят стихотворения «Пустыня», «Заклятье о русской земле», «Иуда-апостол», «Святой Франциск». Ещё осенью 1919 года он начинает работать над большой поэмой о Серафиме Саровском. А. М. Петрову эта задумка смущает: «Почему-то очень боюсь, что Вы напишете о Серафиме. Запало Ваше мимолётное признание при разговоре в последнюю встречу: „Мне непонятно смирение“. А ведь без него, по настойчивому указанию всех святых, праведных и Отцов церкви, – ни шагу вперёд, и всякая иная работа ничто».

«Дорогая Александра Михайловна, – отвечает ей Волошин 17 октября. – О Серафиме Вы не бойтесь: я его почувствовал. Я читал тогда Амвросия (иеромонаха Оптиной пустыни. – С. П.), когда жаловался на то, что не понимаю смирения. Из жития Амвросия так и не видно, ни кто он, ни какими путями он шёл. Вся личная трагедия спрятана. Вина не его, а биографа... В Серафиме смирение понятно и обоснованно. У меня план и перспектива наместились. Конечно, это не будет ни ортодоксально, ни церковно (тогда надо житие писать, а не поэму!), но, конечно, „Гавриилады“ не напишу. Во-первых, потому что я недостаточно гениален, во-вторых, потому что вовсе не собираюсь ни шутить, ни кощунствовать... На Аввакума – могу сказать – совсем не будет похоже».

Образ Серафима полностью овладевает творческим воображением поэта. «Я беру его как реальное существо Первой Иерархии, – пишет он Е. И. Дмитриевой (Васильевой) 25 ноября, – воплощающееся по непосредственному изволению Богоматери... в плоть России»:

«Мой любимиче! Погасни
В человеках. Воплотись. Сожги
Плоть земли сжигающей любовью!
Мой любимиче! Молю тебя: умри
Жизнью человеческой, а Я пребуду
Каждый час с тобою в преисподней».

И, взметнув палящей вьюгой крыльев
И сверля кометным вихрем небо,
Серафим низринулся на землю.

В земном же бытии Волошина, как обычно, масса проблем – мелких и крупных. Кишмя кишит самыми разными людьми посёлок-муравейник Коктебель. Наезжает с маленьким ребёнком и престарелой матерью всегда беспокойная Майя Кудашева, тяжело переживающая гибель мужа, подпоручика белой армии; Татида, не ужившись с Пра, уезжает в Болгарию; происходит ссора Волошина с Эренбургом... Да и здоровье Макса оставляет желать лучшего: его мучает ревматизм плеча, одолевают головные боли, дают о себе знать почки, как считает врач, «благодаря недоеданию, истощению и сильной нервной работе». Увы, в то время это был весьма распространённый диагноз. А тут ещё в дом, официально освобождённый от постоя, вселяют сорок пять кубанских казаков, которые обильно «удобряют» окрестности... Волошину никак не удаётся найти издателя для новой книги стихов, хотя замысел и структура «Неопалимой Купины» у него давно созрели, а за поэтическим материалом дело бы не стало. Поэт старается заинтересовать своим творчеством командующего Первой армией генерала А. П. Кутепова, делает попытки выйти на самого главнокомандующего Русской армией барона П. Н. Врангеля, но – тщетно. Не помогает и обращение за помощью к П. Б. Струве... Может быть, время сейчас такое, непоэтическое?.. Или его поэзия слишком специфична и не вписывается в общепринятые каноны?..

А над Крымом сгущаются тучи: положение Русской армии становится критическим. «Использовать выгодную стратегическую обстановку в связи с нахождением главных сил красных на Польском фронте не решились, – пишет в своих мемуарах генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский, – а впоследствии пришлось принять на себя весь их удар... А время было, были и средства». Так или иначе, но время и судьба, расчёт и удача были на стороне командующего Красной армией М. В. Фрунзе. 8 ноября 1920 года красные начинают штурм Турецкого вала, а спустя три дня П. Н. Врангель отдаёт приказ об оставлении Крыма...

Забыть ли, как на снегу сбитом
В последний раз рубил казак,
Как под размашистым копытом
Звенел промёрзлый солончак,
И как минутная победа
Швырнула нас через окоп,
И храп коней, и крик соседа,
И кровью залитый сугроб.
Но нас ли помнила Европа,
И кто в нас верил, кто нас знал,
Когда над валом Перекопа
Орды вставал девятый вал, –

напишет участник последних крымских сражений белых – поэт Иван Туроверов.

«Все мои желания остались только желаниями, – подведёт итог Я. А. Слащов. – Армия садилась на суда, покидая Крым, ничего сделать было нельзя, и я на ледоколе „Илья Муромец“ выехал в Константинополь, покидая землю, которую всего несколько месяцев тому назад держал с горстью безумцев-храбрецов...»

НАМ ЛИ ВЕСИТЬ ЗАМЫСЕЛ ГОСПОДНИЙ?

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.